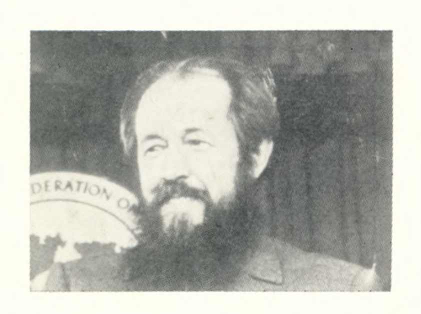
РОМАН ГУЛЬ

СОЛЖЕНИЦЫН

СТАТЬИ





РОМАН ГУЛЬ

СОЛЖЕНИЦЫН

СТАТЬИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСТ» НЬЮ-ЙОРК 1976

Printed by Waldon Press, Inc., 216 West 18th Street, New York, N.Y. 10011

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН В СССР И НА ЗАПАДЕ

«БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ»

Я хочу поговорить о последней книге А. И. Солженицына «Бодался теленок с дубом». Это будет не какой-нибудь «литературный анализ». Я, слава Богу, не «присяжный критик». Я — читатель, ну — пишущий читатель. И просто хочу поделиться некоторыми мыслями о «Теленке».

Эта книга Солженицына тоже, по-моему, явление монументальное, хотя, разумеется, как всякая книга, и она может вызывать (и вызывает) некоторые «но». Однако в сравнении с ее темой и идеей все эти «но» представляются никчемными.

Одно «но»: — книга, на мой взгляд, длинновата, 629 страниц! Есть повторения. Есть некие «прыжки в сторону», как говорят немцы. Есть места, на мой взгляд, ненужные. Ну, кому, например, нужна литературная характеристика критика Лакшина (страниц на 10!)? Кому-то, конечно, нужна (самому Лакшину в первую очередь!). Но широкому читателю, для которого книга и предназначена — это не нужно, как и другие «прыжки в сторону» от столбовой темы. Растянутость повествования признает и сам Солженицын. «Вот, оказывается, какое липучее это тесто — мемуары, — пишет он, — ...И сам себя проклиная за скучную обстоятельность, трачу время читателя и свое».

Но этот огрех автора заслуживает полного снисхождения. Всякому писателю почти невообразимо себе представить, что своего монументальнейшего «Теленка» Солженицын писал «в передыхе между двумя узлами», то-есть, одновременно «между работой» над столь же монументальным «Августом 14-го» и еще более монументальным, трехтомным «АРХИПЕЛАГОМ ГУЛАГ».

Какие для этого нужны силы? Какая писательская, аввакумовская одержимость? Какая вера в свое призвание, в свой

«социальный заказ», словно данный откуда-то «свыше»: «восстань, пророк, и вираждь и внемли!». В приложенни к Солженицыну эта избитая но знаменитая строка не звучит неправдоподобием. «Но я писал на каменной кладке, в многолюдных бараках, без карандаша на пересылках, умирая от рака, в ссыльной избенке после двух школьных смен, я писал, не зная перерывов на опасность, на помехи и на отдых — и только потому в 55 лет у меня остается невыполненной всего лишь — 20-летняя работа, остальное — успел».

Мое второе «но» из другой области. Это — язык Солженицына, который я не всегда приемлю и порой дивлюсь: зачем бы это? Конечно, «Теленок» по языку куда проще и «Августа» и «Архипелага». Язык тут, в сущности, почти классический, что продиктовано самим жанром вещи — литературные мемуары (хотя А. Белый и в «мемуарах» говорит подчас так, что читателя берет оторопь!). Но все же и в «Теленке» (пусть редко!), но иногда становишься в святой тупик, а иногда и не «допонимаешь». Зачем, например, понадобилось: — «вередил наутык», «деготный зашлеп» (хотя Ремизову м.б. это и понравилось бы!), «нераскрыв» (существительное), «исполегающий голод», «прогляженные годы», «утонутое положение» и мн. др. Попадаются и иные слова, которые мне кажутся некстати именно в этом литературном жанре: — «маненько», «нехай», «на лешего» и т.д. Да, у нас в Пензенской губернии крестьяне именно так и говорили: «маненько». Но они говорили ведь и «надысь», и «баить» и мн. др. Нет плохих и негодных слов. Разумеется, все слова хороши, но когда встают на свое место. К примеру, как чудесно у Клюева: «мы свое *отбаили* до срока». Но в литературных мемуарах подобные простонародности, по-моему, ни к чему. И меня в этом поддерживает никто иной, как сам Владимир Иванович Даль, знаменитый русский лексикограф и составитель Толкового Словаря, который так любит Солженицын. В 1862 году Даль написал: «языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку и в том числе, может быть, и сам составитель словаря».

Но, как сказал однажды в Государственной Думе П. А. Столыпин: — «мой язык, как хочу так и говорю!». И Солженицын мог бы мне ответить также. Тем более, что «Теленок»

при всем том — великолепен. И написан своим солженицынским языком — с его выразительностью и своеобразием, которые давно закреплены за Александром Исаевичем. И только за ним. У него своя языковая стихия.

Основное чувство, овладевающее при чтении «Теленка», это прежде всего удивление духовной (да и физической!) *силе* Солженицына. Ведь «Теленок», это — эпопея борьбы одиночки-писателя Солженицына со всей тоталитарной левиафановской властью большевицкого полицейского государства. И писалась хроника этой борьбы не в Цюрихе, не «опустив ноги в холодную воду», где-нибудь в отеле в Альпийских горах. Нет, страшная эпопея этого невероятного духовного сопротивления — всему ленинскому государству — писалась в самой берлоге этой державы-концлагеря, зовущегося — СССР. И борьба Солженицына шла ведь не год, не два, а целых 27 лет! — «от первых стихов на шарашке, первых пряток и сжогов». — «Издали кажется: государством проклятый, госбезопасностью окольцованный — как это я не преломлюсь, когда-то успеваю и в архивах рыться, и в библиотеках, и справки наводить, и писать, и перепечатывать, и считывать, и переплетать — выходят книга за книгой в Самиздат (а через одну и в запас копятся) — какими силами, каким чудом?» — «Как ты мудро и сильно ведешь меня, Господи!», срывается у Солженицына. И этому веришь. «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил». Недаром Господь «вразумил» Солженицына. Думаю даже — с бóльшим основанием чем древнего летописца. Без преувеличения надо установить: *ТАКОЙ* книги в мире не появлялось. И в этом непреходящая историко-литературная ценность «Теленка».

Солженицын подробно рассказывает не только об условиях созданья своих подпольных произведений в СССР, но и об очень осторожной, но целеустремленной борьбе за то, чтоб его писания увидели там свет. Тут большое место занимает вспыхнувшая литературная (а потом и человеческая) дружба с Твардовским, после прочтения им рукописи «Одного дня Ивана Денисовича». Но на истории «Ивана Денисовича», ставшего внезапной литературной сенсацией в России и во всем мире, я не задержусь. Она общеизвестна. Все знают это из

иностранной и из русской зарубежной печати. Фактично, хорошо рассказал об этом и Жорес Медведев в книге «Десять лет после Ивана Денисовича». Я приведу лишь одну подробность из «Теленка», характеризующую Солженицына.

После всей длительной и упорной борьбы Твардовского за напечатание «Ивана Денисовича» в «Новом Мире» и полученного наконец разрешения на это от самого царя Никиты — Солженицына вызвали в Москву читать корректуру. «Пока я сидел над машинописным текстом, — пишет Солженицын, — все это было миф... Но когда передо мной легли необрезанные журнальные страницы, я представил, как всплывет на свет к миллионам несведующих крокодилье чудище нашей лагерной жизни и, в роскоши гостинничного номера я первый раз плакал сам над повестью».

В русском зарубежьи Солженицына многие иконизируют. Я видел даже какие-то не в меру богомазные его портреты. Я понимаю, что это делается из самых лучших чувств: наконец-то, мол, на весь мир заговорил наш, русский человек о правде, да какой человек! И все же, мне думается, иконизация ненужна. Любовь не требует раболепства. Оно убивает любовь. Солженицын — человек, а не иконостас. Правда, Солженицын совершенно особый человек, он — «озвенелый зэк», он — «железный зэк», навсегда слившийся с миллионами своих братьев зэков, погибших на Архипелаге ГУЛАГ. У меня «неисправимо-лагерный мозг», говорит он. И именно тут родилась тайна его силы — «Я воспитан там и это *навсегда*». «Открою вам тайну, — говорит Солженицын Твардовскому, — я *никогда* не выйду из себя, это просто невозможно, в этом же лагерная школа. Я взорвусь — только по плану, если мы договоримся взорваться на девятнадцатой минуте... А нет — пожалуйста нет».

И в борьбе за прорыв своей литературы в публичность, к читателям, сквозь блевотину большевицкого тоталитаризма, у Солженицына было вовсе не только «открытое и гордое противостояние» («выхожу на бой в свой полный рост и в свой полный голос»). Как «озвенелый зэк» Александр Исаевич и придурялся, где нужно, и отпирался, и лицедействовал. Как хорошо, например, он провел встречу в ЦК с вызвавшим его туда всесильным товарищем Пономаревым, «главным души-

телем литературы и искусства». — «Я нарочно приехал в своем школьном костюме, купленном в «Рабочей Одежде», в чиненных, перечиненных ботинках с латками из красной кожи на черной, и сильно нестриженным». И еще ловчее «озвенелый зэк» Александр Исаевич пустил, исконно лагерную «раскидку чернухи», на двухчасовой встрече с еще более вельможным душителем русской литературы, с начальником «агитпропа» и советником по делам культуры у Хрущева — с Демичевым. «По мере разговора он несколько раз мне выкладывал даже без нужды: — 'Вы — сильная личность!', 'Вы — сильный человек!', 'К вам приковано внимание всего мира!» — «Да что вы ! — удивлялся я, — да вы преувеличиваете!»... «Я вижу вы действительно открытый русский человек!», — говорил Демичев с радостью. Я бесстыдно кивал головой. Я и был бы им, если б вы нас не бросили на Архипелаг ГУЛАГ. Я и был бы им, если б за 45 лет хоть один день вы нам бы не врали!». Даже с Твардовским, которого Солженицын любил, и с которым крепко дружил, он никогда все-таки не был «душа на распашку».

После магниевой вспышки литературной славы Солженицына и в России, и на Западе, травля писателя со стороны КГБ не заставила себя ждать. На верхах его «раскусили». И началось «боданье теленка с дубом».

За напечатанием рассказов «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка» и нескольких других, Солженицын пробует — правдами и неправдами — через Твардовского и не через него — протащить в печать «Раковый корпус» и в «Круге первом». Но эта борьба уже напрасна. Солженицын не выигрывает ее, на верхах его уже трактуют, как «внутреннего врага», его «маскировка перед полицейской цензурой» разоблачена. Его душит КГБ захватом литературного архива, опутывает кольцом слежки, стукачами. Душит и прямыми действиями и через свой главный филиал — Союз Советских Писателей. Сопротивление Солженицына этой борьбе — невероятно. Он шлет письмо IV-му Всесоюзному Съезду Союза Писателей, в котором говорит: «я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной и скрытой — цензуры художественных произведений». И это письмо — неисповедимыми путями — сейчас же распространяется во

всех странах Запада. Вскоре «теленок» наносит и новый удар: он шлет письмо в Секретариат Правления Союза Писателей СССР, в котором настаивает на опубликовании его «Ракового корпуса» — «безотлагательно»! И это письмо тутже находит путь на Запад. И вот заседание секретариата Союза Писателей, на котором присутствует и Солженицын, и где секретариат делает «попытку публично определить ваше отношение к антисоветской кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой вокруг вашего имени и ваших писем».

На это «теленок» отвечает еще более отчаянным «боданием». Солженицын шлет новые письма: и в Секретариат Союза СП и заграницу — в «Ле Монд», в «Унита». Его большие вещи уже ушли на Запад и там напечатаны. Ему присуждается Нобелевская премия. Он пишет письма: — в Королевскую Шведскую Академию и в Нобелевский Фонд, открытое письмо министру КГБ Андропову, председателю Совета министров СССР Косыгину, министру внутренних дел Щелокову, обличает письмом патриарха Пимена. И все эти письма тоже уходят на Запад и там печатаются и комментируются. Он дает интервью — «Нью Иорк Таймз», «Вашингтон Пост», «Ассошиейтед Пресс», «Ле Монд, «Тайм». Его уже знает весь мир: Запад защищает (и собственно, правду сказать, спасает!) Солженицына от расправы андроповцев, — разнеся по миру его литературную и человеческую славу.

«Бодался теленок с дубом» не только дает читающему прекрасный, в полный рост портрет Солженицына, как писателя и человека. Книга дает и множество острых зарисовок, — как говорит Солженицын — «верноподданного баранства» (не баронства, конечно!). То-есть — портретов этих «инженеров человеческих душ», которые десятилетиями брюхом приросли к ленинскому тоталитаризму. Тут и — первые среди равных — секретари-канцеляристы ССП: «коренастый, широчелюстный хамелеон» псевдо-драматург Воронков, и «мурло, отчасти комическое» Сартаков, и «отъевшаяся лиса» Марков «с хитреньким мягким полубабьим лицом», и «полканистый» Соболев. Очень хороша сцена, когда эти получекисты-полуписаки («даже не писатели вовсе!», говорит Солженицын) встречают Солженицына и Твардовского, приехавших (по настоянию Твардовского) на разговор о том: как попало заграницу резкое

письмо Солженицына IV-му Всесоюзному Съезду Союза Сов. Писателей.

«Приехали мы в знаменитый колоннадный особняк на Поварской». Сели. «Я спросил, нет ли графина с водопроводной водой — и тут же какая-то потайная дверь раскрылась и горничная из какого-то заднего тайного кабинета стала таскать на огромный полированный стол фруктовые и минеральные воды, потом крепкий чай с дорогим рассыпчатым печеньем, сигареты и шеколадные трюфели (народные денежки...)». Сперва «начался гостиный разговор о том, что это особняк Ростовых, и как его берегут, и как графиня Олсуфьева, приехав из заграницы, просила его осмотреть (со смаком выговаривал Воронков «графиню», представляю, как он перед ней вертелся — и как бы ту графиню вошел (в особняк РГ) расстреливать в 17-м».

Признаюсь, что помимо чувства отвращения к этим портретам чекистов литературного ведомства, засевших (с нуворишским упоеньем, конечно!) в «дом Ростовых», я чувствовал искреннюю жалость к этому прекрасному особняку, охамленному таким отребьем.

Среди зарисовок «верноподданного баранства» в «Теленке» там и тут мелькают: и «изнеженный» международный кагебистский жулик Виктор Луи (по-настоящему — Виталий Левин), «в лагере бывший известным стукачем, а после лагеря внезапно ставший корреспондентом английских газет». И Корнейчук, заявляющий — «своим творчеством мы защищаем свое правительство, свою партию, свой народ; вы тут иронически выссказывались о заграничных поездках, как о приятных прогулках, а мы ездим заграницу вести борьбу». И сталинский одописец Симонов, сообщающий — «роман в «Круге первом» я не приемлю и против его печатанья». И Кожевников — «я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матрениного двора»... «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма, от нагнетенья всевозможных ужасов... и он неприемлем». И Сурков — «Я тоже читал пьесу «Пир победителей». Ее настроение: — «да будьте все вы прокляты!» И в «Раковом корпусе» продолжает звучать то же».

Это все — главные натурщики «верноподданного баранства» ленинского стада. Есть зарисовка (и не одна) и Кон-

стантина Федина. Вот Твардовский пишет ему письмо «объема в авторский лист» в защиту напечатанья «Ракового корпуса». Ответа нет. А спустя долгое время при встрече с Твардовским — «Благодарю, благодарю, дорогой Александр Трифонович! У меня такая тяжесть на сердце... — А, правда, Константин Александрович, что вы у Брежнева были? — Да, товарищи вокруг решили, что нам надо повидаться. — И был разговор о Солженицыне? — (Со вздохом) Был. — И что же вы сказали? — Ну, сами понимаете, что ничего хорошего я сказать не мог...»

В книге много и «профилей» и «фасов» этих растоптанных мертвых душ, когда-то бывших писателями (а некоторые и талантливыми!). А теперь — руководящих всей ленинской литературной полицейщиной. Сейчас это скорее — персонажи с орвеловского скотного двора.

На фоне этого духовного свинства гораздо интереснее и, если угодно, трагичнее — портрет Твардовского. Солженицын дает яркий и внешний и психологический рисунок этого человека. Оговорюсь (для ясности). Я не поклонник музы Твардовского. Думаю, он был не только не «первый поэт России» (даже Советской), как его величали в хрущевские времена, а вообще поэт был второстепенный. Знаю, что Бунин хвалил «Теркина» за прекрасный народный язык. Но в поэзии дело ведь не в народном говоре. Блок наверняка уступал Твардовскому в этом. Не уступали — Есенин, Клюев, Клычков (кстати прекрасный, но малооцененный поэт, расстрелянный в 1937 г.). Но у этих трех людей кроме «народного языка» было и еще кое-что, что делало их поэтами. Твардовский же не из того теста.

Его портрет интересен иным. Это — высокопоставленный литератор-партиец с глубокой трещиной в душе, ибо был он природно хорошим русским человеком. По-настоящему любил литературу и в царствование Хрущева защищал ее до потери сил. Уж за одно напечатание им (с величайшими трудностями!) «Ивана Денисовича» да простятся ему все его партпрегрешения вольные и невольные.

«Твардовский держался (в редакции «Нового Мира», *РГ*) с достойной церемонностью, однако и сквозь нее сразу поразило меня детское выражение его лица — откровенно детское,

даже беззащитно-детское, ничуть, кажется, не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях, и даже обласканностью трона». Так пишет Солженицын о первой встрече с Твардовским. Дальше, на протяжении лет (и на протяжении всей книги) рассказывается о их (Твардовского и Солженицына) дружеской борьбе. Твардовский, как твердокаменный (пусть либеральный) партиец и член ЦК — с одной стороны борется в верхах (всяким дипломатничанием) за то, чтобы протащить вещи Солженицына в «Новом Мире», а с другой — борется (дружески, но с вспышками гнева) с Солженицыным, стараясь обломать рога «бодливому теленку». Правда, рога у Солженицына мало похожи на телячьи. Уговариваясь поехать с ним в секретариат ССП в «дом Ростовых», Твардовский «настраивает» Солженицына на дипломатический тон, чтобы как-то сгладить резкости и «углы» письма Солженицына Всесоюзному Съезду, заграницей произведшего соответственное впечатление. «Да, не говорите им, что вы боретесь против советской власти!», — уже смеялся он, уже кончал одной из любимых своих шуток».

В изображении Солженицына Твардовский ярок и своим несчастием: гомерический запойный пьяница (как и очень многие «инженеры человеческих душ»). Ну, а чем же залить как не «грозным сиволдаем» великие человеческие горести? Ведь отца Твардовского, работягу-крестьянина «раскулачили» и он где-то в ссылке погиб наверное очень страшной смертью. Ну, а сын? Из-за партбилета и сановной карьеры примирился с этой страшной смертью ни в чем неповинного отца. Из-за партбилета и цекистства Твардовский не мог, не смел взглянуть на мир открытыми глазами так, как внезапно увидел мир Солженицын.

«Ну да, нельзя же сказать, что Октябрьская революция была сделана зря!... ведь если б не революция не открыт бы был Исаковский?... А кем бы был я, если б не революция?», говорил Твардовский Солженицыну. По поводу этой реплики, я думаю, было бы великим счастьем всей России, если б Октябрь не состоялся даже ценой отсутствия в литературе Исаковского. За небытие Архипелага ГУЛАГ — недорогая цена. Конечно, без Октября Твардовский не барствовал бы, «вроде князя Юсупова» или «графа Орлова-Давыдова», на живописной даче Пахра. Но думаю, что и без всяких револю-

ций народные поэты Твардовский и Исаковский всегда нашли бы в России свое место, как находили его до них Кольцов, Никитин, Суриков, Дрожжин и другие. Да ведь и Есенин, и Клюев, и Клычков, и Орешин — все вошли в литературу до революции. И как раз Октябрь уничтожил этих крестьян-поэтов.

Разница в миропонимании Солженицына и Твардовского была велика. Свою духовную свободу Солженицын выстрадал на Архипелаге ГУЛАГ. Твардовский же жил *несвободой* (и своей и чужой). «Я не то, чтобы запретил вашу пьесу («Пир победителей», *РГ*), если б это от меня зависело... я бы написал против нее статью... *да даже бы и запретил...*» И Солженицын добавляет: «когда он говорил недобрые фразы, его глаза холодели, даже белели и это было совсем новое лицо, уже нисколько не детское... Раз вещь была не по нему — отчего и не задержать ее и силой государственной власти? Такие ответы Твардовского перерубали нашу дружбу на самом первом взросте».

Когда дело дошло до романа «В круге первом» Солженицын не без хитринки (он же «озвенелый зэк»!) зазвал Твардовского к себе в Рязань, там читать рукопись. Твардовский и читал ее в Рязани, заливая чтенье «стопцами» коньяка. «С бело-возбужденными глазами, полушутя, полусерьезно этот «сын своей партии» говорил, — «Вы ужасный человек. Если б я пришел к власти — я бы вас *посадил*». — Говорил, конечно потому, добавляет Солженицын, что «как и Хрущев был в довечном заклятом плену у принятой идеологии».

Во время брежневской оккупации Чехословакии горький пьяница Твардовский пытался было отгородиться от этого гнусного подавленья. Но партбилет сделал свое дело. И в «Новом Мире» было-таки напечатано «горячее одобрение» вторжению. «Этот день я считаю духовной смертью «Нового Мира», пишет Солженицын. «Слопала чушка — партия — своего поросенка», скажем мы, вспомнив Блока.

И все-таки за «гнилой либерализм», за печатанье Солженицына партия убила этого человека. У больного уже Твардовского отняли его детище «Новый Мир». «Постепенное «душенье» Твардовского было расчитанной кампанией», пишет Солженицын. В эту кампанию нежданно-негаданно вплелось и напечатание поэмы Твардовского «По праву памяти»

журналом НТС «Посев». «Поэма не ходила по самиздату, Твардовский ее никуда не посылал, не распускал. А вот — появилась... Потрясен, обескуражен, удручен был Твардовский» пишет Солженицын. Твардовский напечатал гневные «протесты» в газетах. Но дело было сделано. И сделано ловко.

В феврале 1971 года Твардовского додушили. Он скончался. А через три года решилась и судьба А. И. Солженицына. Но эти три года «теленок» отчаянно «бодался». И в этой страшной, неравной и напряженной борьбе, в 1973 году КГБ нанес Солженицыну последний, казалось бы, удар. Тщательно захороненную рукопись «Архипелага» гебисты наконец-то захватили. Но КГБ не знал, что борясь не на жизнь, а на смерть, Солженицын успел-таки переправить один экземпляр «Архипелага» на Запад в надежные руки.

Захват «Архипелага» — наиболее трагическое звено в борьбе Солженицына с Андроповым и его «собачьими головами». Арестованную гебистами пожилую женщину, Елизавету Денисовну Воронянскую, на которую по всей видимости навела КГБ первая жена Солженицына, Решетовская, уж тогда «вплотную работавшая» с КГБ, допрашивали непрерывно пять суток. Мы не знаем (и не узнаем) *как* Воронянскую допрашивали, какое «давление» или «воздействие» применяли. Знаем лишь, что Воронянская не выдержала этих пяти суток и указала место захоронения в земле «Архипелага». Казалось бы — полная победа Андропова. Воронянская освобождена. Вернулась к себе. И вот Андропов неожиданно проиграл — Воронянская повесилась. Перед смертью, мечась по квартире, говорила соседке: «Я — Иуда, скольких невинных людей я предала!».

Трагическая кончина Елизаветы Денисовны неожиданно повернула всю борьбу Солженицына и окончательно решила его судьбу. Сразу после ее самоубийства Солженицын дал знак на Запад: печатать «Архипелаг»! «Божий перст, — пишет он, — это ты!... Разве бы сам я решился? Разве понял бы, что *пришло время пускать «Архипелаг»*?... Но перст промелькнул: что спишь ленивый раб? Время давно пришло и прошло — *открывай*!»

Для такого действа нужна была *великая*, могучая душевная сила и *великая* вера. Они у Солженицына были. Конечно,

живя в СССР и выпуская «Архипелаг» на Западе на всех языках, Солженицын твердокаменно был уверен, что кладет свою голову на плаху. Больше того: он знал, что губит этим и любимую жену, Наталью Дмитриевну, и малых детей. Но Наталья Дмитриевна этот его шаг всей душой поддержала. Это был героический жест. Солженицын шел на все. И даже — естественно — переоценивал силу этого жеста. Он пишет: — «должны же они оледениться, такая публикация почти смертельна для их строя».

Разумеется, появление трех томов «Архипелага» на всех языках мира — чрезвычайная неприятность для шайки КПСС. Но к великому нашему прискорбию надо установить, что в «смертельности» выхода «Архипелага» Солженицын глубоко заблуждался. Это — просчет. В наши дни тоталитарный строй охраняется ведь не людьми, а *машинами*. Это в сказочные, баснословные времена королевские, царские, республиканские режимы падали, когда поддерживающие их *люди* отказывали в повиновении. Нынче — *машины* — ни в чем не откажут. Строй, опирающийся на танки, самолеты, бомбы — ядерные, не ядерные, с удушливыми газами и просто разрушительные — для своего смертоносного обслуживанья требуют всего *горсть* людей. А эта горсть (и куда больше!) всегда в полном распоряжении шайки КПСС. И это хорошо знает весь народ, потому и «безмолствует». Знает это и шайка, вооруженная к тому же зверской беспощадностью и наплевательством на все божеские заповеди и человеческие законы. Тоталитарный строй КПСС не взорвешь тремя томами «Архипелага» — это не тридцать атомных бомб.

Почти за 60 лет своей власти ленинская шайка пережила многие удары разоблачений своих преступлений. И выстояла. Даже «колебнутия» не было. Были документальные разоблачения связи Ленина с правительством императора Вильгельма II-го, от которого он получил миллионы золотых германских марок, на которые и делал свой Октябрь. Была речь Хрущева на XX-м съезде о преступлениях времен сталинщины (в которых сам Хрущев играл весьма не последнюю роль). Речь его была международным ударом ошеломительной силы! И что же? Да ровно ничего. О концлагерях и терроре (задолго до «Архипелага») на Западе накопилась большая и страшная

русская и иноязычная литература: книги Кравченко, Солоневича, Марголина, Светланы Аллилуевой, А. Кестлера, Виктора Сержа и очень многих других. Ну, и что? Ничего. Почему? Да потому, во-первых, что политически-влиятельные круги Запада, владеющие всей сетью информации (пресловутые mass media), газеты, радио, телевидение, издательства, в течение полувека *знать правды об СССР не хотели* (*и сейчас не хотят*!). Верно, что после нашумевшего на весь мир казенного антисемитизма КПСС кое у кого из западных интеллектуалов стали чуть-чуть приподниматься веки (как у «Вия»). Но это всего навсего — «чуть-чуть». Поэтому-то и вера Солженицына — свалить тоталитарный строй тремя томами «Архипелага» была, конечно, героической, но, конечно, и дон-кихотской.

Изучая «комплексным методом» психологию и настроения политически-ведущих кругов на Западе, тратя на это несусветные миллионы, шайка КПСС *лучше* чем Солженицын знала всю слабость Запада, ежечасно подтверждающую знаменитую «ленинскую веревку», на которой он предполагал повесить демократии.

После опубликования «Архипелага» в Париже Солженицын был уверен в своем аресте. На сей случай он выработал для себя «правила поведения». Казалось бы, суть ленинской шайки, ее волчью, безжалостную хватку лучше зэка Солженицына не знает никто. Но и в выработанной им тактике автор «Архипелага» просчитался. Солженицын написал записку под заглавием — «На случай ареста»!

«Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой ее, над любым русским автором. Если такой суд будет назначен надо мной — я не пойду на него своими ногами, меня доставят со скрученными руками в воронке. Такому суду я не отвечу ни на один его вопрос. Приговоренный к заключению, уже отдав свои лучшие восемь лет принудительной казенной работе и заработав там рак — не буду работать на угнетателей больше ни получаса. Таким образом, я оставляю за ними простую возможность открытых насильников: вкоротке убить меня за то, что я пишу правду о русской истории».

Шайке КПСС необходимо было принимать решение. Споры в Политбюро о Солженицыне могли быть жаркие. Убить?

Запереть снова в концлагерь и там добить? В тюрьму — в Потьму? И — там? В психбольницу? И там впрыскиваниями химикалий довести до помешательства? Все — в их полной возможности. Но убить Нобелевского лауреата, нашумевшего на весь мир, все-таки как-то невыгодно для престижа, хотя бы и гангстеров. И шайка КПСС приняла, слегка рискованное, но по сути дела весьма неглупое решение: выбросить из СССР на Запад: — «Нате! Берите! Вместе с семьей! Со всем архивом! Повозитесь с ним!».

«Указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик, лишен гражданства СССР и 13 февраля 1974 года выдворен за пределы Советского Союза Солженицын, А. И.».

На Западе одни по милой наивности и, пожалуй, даже по дурости объяснили этот жест шайки, как «либерализм», другие, как чуть ли не «предсмертный жест разлагающейся диктатуры», третьи, как «страх Кремля перед общественным мнением Запада» (подумаешь! страх! перед кем? перед Фордом и Американским Конгрессом с Мак Говерном, Беллой Абцуг и другими макговернитами? перед Вилли Брандтом с его ленинизированной «социал-демократией»?).

Через стукачей, которых Александр Исаевич знал и не стукачей («информаторов», которых он быть может и до сих пор не знает!) головка ленинцев насквозь знала — характер, волю, взгляды, все мировоззрение Солженицына. Они знали, и то — *что* и *как* Солженицын скажет и напишет *о них* на Западе. Но именно эти — *что* и *как* их не так уж пугали. Почему? Да потому, что шайка знала, непонятную ей, духовность Солженицына, его веру в победу *неразложимой правды*, с неприятием никаких соглашательств, знали и его православное христианство. Они понимали, что такой *солженицынской правды* Запад (именно эти «ведущие», теперешние «лево-либералы») *никогда не примет*. Если б даже и захотели. Просто *не смогут* принять, ибо это и для них ведь нечто вроде приговора к небытию. Шайка в своем предвидении была не беспочвенна. Правильно писал блестящий европеец Сальвадор де Мадарьяга: мир с Брежневым, это война с Солженицыным. Но

Мадарьяга ведь последний из могикан — из европейцев этой породы. И олигархи выбросили Солженицына на Запад.

Как же это было осуществлено? Очень просто. 12 февраля в 17 часов вечера, в квартиру Солженицына обманом и силой ворвались восемь «собачьих голов» Андропова, предъявив постановление о *ПРИВОДЕ* в прокуратуру. Главы, описывающие «выброс» Солженицына на Запад — самые захватывающие. Сначала из дома (полунасильственно) в Лефортово, из Лефортова (полунасильственно) — в самолет, а из самолета уж свободный выход — во Франкфурте на Майне: bitte schön! Солженицын пишет: «Теленок оказался не слабее дуба». Да, «теленок», конечно, очень силен и крепок. Но к глубокому сожаленью, дуб оказался дубом: он по-своему много сильнее «теленка».

«И вдруг от пилотского тамбура сюда в салон команда — громко, резко:

— Одевайте его! Выводите!

...На пороге тамбура один из восьми налетает на меня лицо в лицо, грудь к груди — и от живота к животу передает мне пять бумажек — пятьсот немецких марок. Во-как! Поскольку я зэк — отчего не взять? Ведь беру же от них пайку, щи... Но все-таки джентельменничаю:

— Позвольте... А кому я буду должен?

— Никому, никому.

Исчез с дороги, я даже лица его не отличил, не заметил. И вообще — дорога мне свободна. Стоят гебисты по сторонам... Иду. Спускаюсь... Так и осталась нечистая сила — вся в самолете...»

Конечно, на коре шестидесятилетнего ленинского тоталитарного дуба КПСС «теленок» оставил кое-какие царапины. Для истории даже, пожалуй, довольно серьезные. Но «дуб» о будущих историках не очень беспокоится. Чихал он на них с своей дубовой высоты.

В довольно затянувшейся трагедии сосуществования тоталитарного СССР с демократиями Запада, в этой трагедии «Коварства и любви» (по слову Алданова), идущей шестьдесят лет на мировой сцене, ленинская шайка всегда обыгрывала Запад: — от Ильича Первого до куда более мелкого Ильича Второго. И этот обыгрыш был нетруден, ибо партнеры шайки,

лево-либеральные круги Запада подсознательно (а некоторые и сознательно) только и хотят, по существу, «быть обыгранными», но сохраняя при этом какую-то пустопорожнюю демократическую словесность. Недаром считающийся гениальным лорд Бертран Рассель выдумал для них от всего избавляющую формулу: «лучше быть красным чем мертвым» (better red than dead). И шайка, думаю, была совершенно уверена, что лево-либералы не «выдадут» ее Солженицыну. И во имя либерально-демократической словесности защитят суверенное право шайки на насилия и зверства над народами России. И она пока что не ошиблась.

Сразу после «выброса» Солженицына на Запад какие-то шавки в русской печати в Израиле записали: «Солженицын — антисемит». И тут же, в американской печати откликнулись уже дипломированные «либералы», развивая эту «тему». Солженицын — «реакционер», «адвокат холодной войны», «шовинист», «сторонник авторитарного строя», «враг свободы и демократии». А Солженицын, как всем на зло, пишет то о «русском национальном самосознании», то о значении в будущей России роли «православной русской церкви», то о великих реформах Александра II-го, то осмеливается сравнивать дореволюционную Россию с ленинским крокодильим «Архипелагом ГУЛАГ». Но ведь это же у лево-либералов запретные и даже «неприличные» темы.

Лево-либералы Запада разрешают и даже поощряют высказывания о росте негритянского, китайского, израильского, арабского и других национальных самосознаний. Но — русского? Это уж извините! На этом — шестидесятилетнее табу. А уж если эта тема в широкой печати и затрагивается, то обязательно вульгаризируется и проституируется переводом в «реакционность», «шовинизм», «черносотенство». И мы видим, как ловкими искажениями, эти mass media — газеты, радио, телевидение — хотят пришлепать на спину Солженицына именно такой «бубновый туз», ошельмовав его, как политическую персона нонграта.

РЕЧИ В АМЕРИКЕ

Первое большое политическое выступление А. И. Солженицына на Западе — три его речи в Америке: две в Вашингтоне

и одна в Нью Иорке. Как хорошо, что в США его пригласила не Белла Абцуг (в будущем, по-моему, роскошная американская Евгения Бош), не Элизабет Хольцман (в будущем, по-моему, роскошная американская «Землячка»), не коленопреклоненный перед вьетконговскими чекистами Мак Говерн и не «друг» северо-вьетнамских ленинцев Рамзи Кларк, ездивший к ним неизвестно на какие «переговоры» в то время как вьетконговцы убивали зверскими пытками американских военнопленных. Солженицына пригласила самая политически и духовно здоровая и самая численно могущественная организация Общеамериканского профсоюзного объединения АФЛ-СИО, во главе в Джорджем Мини, старым, стойким защитником социальной справедливости и политической свободы человека.

И хорошо, что обращаясь в Вашингтоне не к политически марксизированным, волосатым левым интеллектуалам-снобам, а к американским трудящимся, к «молчаливому большинству» страны Александр Исаевич начал свою первую речь словами — «Братья! Братья по труду!»

Каждый, прочитавший «американские» речи Солженицына будет вынужден признать, что они блестящи. И по проникающему их чувству глубокой человечности, и по разносторонней политической осведомленности, и по глубине мысли и, наконец по ораторской форме. Эти речи были прямым и сильным ударом по анти-антибольшевизму лево-либералов, американских и западно-европейских.

Разумеется, речи Солженицына это не речи политика (хоть они и политические по содержанию). Это скорее проповеднические речи человека, остро чувствующего надвигающееся на мир апокалиптическое землетрясение. «И вышел конь бледный...». Если Блоку в начале века было — «утром страшно раскрыть лист газетный», то тогдашние страхи Блока — детские по сравнению с сегодняшним даже не страхом, а — мировым ужасом, к которому мы «более или менее» начинаем привыкать, головокружительно несясь в какую-то чертову пропасть вместе со всей нашей «культурой» и «цивилизацией».

«Именно потому, что я друг Америки, именно потому что дружеские чувства вызывают эту речь (аплодисменты), я и пришел сказать вам: Друзья мои, я не буду говорить сладких слов. Положение в мире не просто опасное, положение в мире

не просто угрожающее, положение в мире ката-стро-фическое!» (аплодисменты).

Как же реагировали на это лево-либералы? Как обычно. Передержками, извращеньями, а иногда ложью. «Солженицын вещает, как пророк Ветхого Завета. Но Сов. Союз и наша страна имеют все основания, чтобы продолжать детант для достижения мира». «Солженицын проповедует возвращение к холодной войне самого непримиримого стиля». А один левак в известной американской газете написал: «Бессмыслица остается бессмыслицей, даже если она высказана Солженицыным». Но посол США при ООН Даниель Мойнихен с этим развязным заявлением, оказывается, не согласен. Он признал правильной оценку Солженицыным мирового положения: «положение не только пугающее, не только угрожающее, оно катастрофическое», сказал Мойнихен.

«Коммунизм никогда не скрывал, что он отрицает всякие абсолютные понятия нравственности. Он смеется над понятиями добра и зла, как категориями несомненными... Он успел заразить весь мир этим представлением об относительности добра и зла. Сейчас считается в передовом обществе неудобным употреблять серьезно слова «добро» и «зло». Коммунизм сумел внушить, что это понятия старомодные и смешные». — «Коммунизм это прежде всего — *античеловечность...*» — «Я напомню, что великий Вашингтон не соглашался на признание французского Конвента из-за его зверств», — говорил Солженицын на банкете АФЛ-СИО.

И дальше: — «Нравственность всегда права. И эту точку зрения покинуть нельзя. Надо душой и сердцем это принять... И вместо того, чтобы вести низкие, мелкие и недалекие политические расчеты и игры, надо отдать себе отчет: вот концентрируется Мировое Зло огромной ненависти и силы. Оно растекается по земле и надо стать *против* него, а не спешить подавать ему все, что оно хочет съесть...» (аплодисменты).

В своей речи Солженицын цитирует высказывания Маркса, Энгельса, Ленина, обосновывающие систему убийств — систему террора. Он приводит (известные русским, но не американцам) цифры — по советским документам — что «в 1918-1919 г.г. ВЧК расстреливала без суда *больше тысячи человек в месяц*!» «...А в расцвет сталинского террора в 1937-38 г.г.,

если мы разделим число расстрелянных на число месяцев, мы получим *более 40 тысяч расстрелянных в месяц*!». Переходя к сегодняшнему времени Брежнева Солженицын говорит: — «у нас десятки тысяч человек политзаключенных и по подсчету английских специалистов *семь тысяч человек в принудительном психиатрическом лечении*». — И Солженицын восклицает: — «Коммунистические вожди говорят: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, дайте нам душить спокойно... А я говорю вам: «внутренних дел» не осталось на нашей тесной планете... Пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела. Мы просим вас — вмешивайтесь!» (аплодисменты).

На банкете американских профсоюзов дружественные аплодисменты взрывали речь Солженицына. Но это — не Белый Дом и не Государственный Департамент. Белый же Дом в лице президента Форда и государственного секретаря Киссинджера, к сожалению, отнеслись к Солженицыну именно так, как того хотела шайка КПСС «выбрасывая» Солженицына на Запад.

Общеизвестно — Форд отказался притти на банкет профсоюзов и не захотел принять Нобелевского Лауреата А. И. Солженицына в Белом Доме. Почему? Да, оказывается, только потому, что Александр Исаевич «человек не вполне уравновешенный» и к тому же страшный бизнесмен, желавший использовать этот прием, как рекламу, «для продажи своих книг». Такие резоны, согласно печати, выдвинул всесильный сторонник детанта, государственный секретарь и председатель совета национальной безопасности мистер Киссинджер, эта неудачная каррикатура на всесильного лорда Биконсфильда. На эти неумные и постыдные аргументы хорошо ответил писатель Роберт Мэсси, автор известной книги «Николай и Александра». В письме в «Нью Иорк Таймз» Мэсси пишет: — «Мне представляется, что один аспект постыдного отказа президента Форда приветствовать Нобелевского Лауреата Александра Солженицына заслуживает особого внимания. Согласно «Нью Иорк Таймз» от 3 июля, некоторые сотрудники Белого Дома высказались против встречи, подняв вопрос о «психической уравновешенности» г-на Солженицына. До сих пор подобные утки, применяемые ко многим советским писателям и гражда-

нам, вызывающим недовольство режима, были особой принадлежностью КГБ. То, что они исходят теперь от американцев из Белого Дома — чудовищно. Можем мы просить, чтобы эти анонимные сотрудники были названы и чтобы от них немедленно потребовали покинуть дом, который, как американцы все еще надеются и верят, принадлежит нам, а не КГБ».

Поставившему президента Форда в постыдное положение Киссинджеру ответил не один Роберт Мэсси. В Америке не умер еще дух подлинной, джеферсоновской свободы! Известный публицист, автор многих книг Джон Рош (John P. Roche) в большой ежедневной газете «Norwich Bulletin» напечатал еще более резкую отповедь Форду и Киссинджеру под не очень лестным для них названием — «Форд и КГБ». Пытаясь, но весьма неуклюже, как-то выйти из своего не только стыдного, но и двусмысленного положения, Киссинджер заявил на пресс-конференции: «Если я правильно понял мысль Солженицына, то он считает, что США должны проводить агрессивную политику, чтобы положить конец советской системе». Эта самозащита Киссинджера была лжива. Ничего похожего А. И. Солженицын не говорил и сказать не мог. О дорогом сердцу Киссинджера «детанте» Солженицын сказал: — «То, что называется «детант» — это есть *ослабление* туго натянутой веревки... А я бы сказал — нужна *открытая ладонь*. Нужны такие отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами, чтобы не было обмана в вооружении, чтобы не было концентрационных лагерей, чтобы не было психиатрических домов для здоровых. Чтобы не сжимались горла женщин от слез. Чтобы прекратилась эта вечная идеологическая война, которую против вас ведут. Чтобы такое выступление, как мое сегодня, не носило характера исключительности... И вот это и была бы, как я называю *«открытая ладонь»*! (Аплодисменты). И еще: «Разрядка нужна или нет? Не только нужна. Она нужна как воздух! Это единственное спасение Земли, чтобы вместо мировой войны произошла разрядка. Но разрядка истинная».

На неправду Хенри Киссинджера хорошо ответил сенатор Хенри Джексон, будущий демократический кандидат в президенты. Он сказал: «Печально, что государственный секретарь избрал мишенью для нападок большого, хорошего и смелого

человека — Александра Солженицына, неправильно представляя его взгляды и именуя его угрозой всему миру. Если бы Киссинджер и Форд встретились с Солженицыным вместо того, чтобы съеживаться от страха перед советской реакцией на такую встречу, они бы узнали, что все что требует Солженицын, это — *детант без иллюзий*... Не для того наша страна просуществовала двести лет, чтобы главный выразитель ее внешней политики становился на сторону советских правителей против американской преданности свободе». С резкой отповедью Киссинджеру выступил и сенатор Джеймс Бокли, выражая удивление, что «детант вынуждает президента самой могущественной нации свободного мира избегать встречи с самым красноречивым защитником ценностей свободного мира... О реальности нашей внешней политики детанта президент может узнать от Александра Солженицына значительно больше, чем от государственного секретаря». Против Форда и Киссинджера с хорошей статьей «Форд и Солженицын» выступили известные журналисты Эванс и Новак: «Отношение президента Форда к Солженицыну показало... отсутствие хорошо информированной политической консультации, недостаток политического чутья, неуклюжесть объяснений и просто плохие манеры... Не сыграло ли тут роль влияние вездесущего Киссинджера, одновременно сидящего на двух стульях: государственного секретаря и советника по вопросам национальной безопасности... Киссинджер слишком привык к тесному сотрудничеству с Брежневым и другими советскими лидерами...» И наконец даже «Нью Иорк Таймз» (этот центральный бастион анти-антибольшевизма и левого либеральства) оказался вынужден так высказаться в одной из передовиц: «Пожалуй, никогда еще... общественность не была столь плохого мнения о президенте, как после недавнего непредвиденного столкновения с Солженицыным. Все началось с открытой лжи, что у президента нет времени, чтоб встретиться с наиболее выдающимся из ныне живущих русских поборников свободы. После этого государственный секретарь Киссинджер обвинил Солженицына в том, что он стоит за агрессивную антисоветскую политику, которая, если она будет принята США, вылилась бы в угрозу военного конфликта. Позиция Солженицына ясна: он высту-

пает против нынешнего «детанта», который является ничем иным, как чистым обманом».

После этого справедливого взрыва стыда у американцев за бестактное, трусливое и неумное поведение Форда, по указке всесильного и всемогущего Киссинджера, друга советского посла «Анатоля» (Добрынина) — между президентом США и Солженицыным произошел последний раунд, моральным победителем из которого вышел не президент. На неуклюжие увертки и отбои Белого Дома, что президент хочет видеть Солженицына, что президента неверно поняли, что приглашение остается в силе, что он готов принять Солженицына — «озвенелый зэк» ответил полным достоинства заявлением в печати:

«С тех пор как я второй уже раз уехал из Вашингтона, в печати было много сообщений, что Белый Дом переменил свое решение: меня хотят видеть. Но среди многих противоречивых объяснений, почему эта встреча не состоялась раньше, было и такое: что президент Форд предпочитает «существенные» встречи, а не «символические». Я вполне разделяю эту точку зрения: символические встречи никому не нужны.

На-днях президент Форд уезжает в Европу, чтобы подписать (впрочем заодно с руководителями западноевропейских государств) *предательство Восточной Европы*: официально признать ее рабство навсегда. Вот если б я имел надежду отклонить его от этого договора — я и сам добивался бы встречи с ним. Однако такой надежды нет. Если тридцатилетний разгул тоталитаризма президент приводит, как образец *мирной* эпохи — то какова почва для разговора?

А. Солженицын, 21 июля, 75 года»

После «боданья теленка с дубом» началось «боданье теленка с Фордом». На это «боданье» Форд реагировал немедленно. Белый Дом выпустил сообщение, в котором подчеркивал, что совещание в Хельсинки «никоим образом не означает юридического урегулирования границ в Восточной Европе». Такое сообщение надо считать вполне юмористическим, ибо никаких «юридических урегулирований» ни Ленин, ни Сталин, ни Гитлер никогда не признавали, также как и Брежнев и вся теперешняя шайка КПСС. Хельсинки Брежневу были нужны, как угроза и как пропаганда. И он это от Запада (в особен-

ности от мистера Киссинджера!) получил. Интересны сообщения некоторых газет о том, что в Хельсинки Форд отклонил приготовленную для него Киссинджером речь «из-за ее мягкости». Может быть все-таки повлиял А. И. Солженицын? Киссинджер, как пишут газеты, хотел дать Брежневу какие-то бóльшие авансы, с которыми Генсек мог бы приятнее возвратиться в Москву. А что касается «юридических урегулирований», то советские газеты уже пишут, что декларация в Хельсинки «должна стать в международных отношениях законом(!!), который никем не может нарушаться». Хорошо бы было устроить «международные курсы по ленинизму» для западных президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и пр. На них преподавать могли бы знатоки и теории и практики ленинизма: — А. И. Солженицын, А. Г. Авторханов, Б. К. Суварин и многие другие. Ведь горе мира в том, что ни один ответственный западный политический деятель никогда — «ни при какой погоде» — не держал в руках *поучительнейшие* произведения Ильича!

Когда то — еще во времена прежнего президента — проф. Глеб Струве в печати назвал Киссинджера «злым гением Никсона». Я с этим согласен. «Злым гением» Киссинджер остается и при Форде. На нашей памяти Невиль Чемберлен своим миротворческим зонтиком подтолкнул Европу к захвату ее Гитлером. Киссинджер может оказаться куда опаснее Чемберлена. Своей политикой иллюзорного детанта он может свалить не только США но весь мир в подвалы мировой Лубянки. Кто-нибудь скажет: преувеличение! Но разве не этот господин — спустил «на тормозах» Южный Вьетнам (а с ним и Камбоджу!) в подвалы вьетконговской и кхмер-ружской ЧК? К тому ж еще получил за это Нобелевскую «премию мира» в 75.000 долларов и пока что ее не возвратил, как «ошибочно присужденную».

Сейчас на очереди Израиль. Я вполне сочувствую демонстрантам-евреям, идущим по Иерусалиму с плакатами: «Доктор Киссинджер, вы не получите еще раз Нобелевскую премию ценой нашей крови!». Но кто знает? Может быть и получит — за «мир» на Среднем Востоке.

Мы помним Мюнхен. Помним, в Париже засыпанного цветами Даладье, привезшего из Мюнхена мир с Гитлером «по

крайней мере для нашего поколения». Чтоб американцы опомнились нужен ошеломляющий Перл Харбор. Всякий тоталитаризм — и коричневый и красный — укрощается только *СИЛОЙ*. Солженицын в «Теленке» пишет: «Я удивляюсь, что за полвека весь мир не видит этого простейшего: только силы и твердости *они* боятся, а кто им улыбается да кланяется — тех давят». Когда умер Фостер Даллес, доктрина которого была — переговоры «с позиции силы» — Хрущев после официальных соболезнований сказал: «Он был наш враг, но он был сильный человек, а мы сильных людей уважаем». Хрущев иногда говорил откровенные и интересные вещи.

Судьба Солженицына на родине, где он «бодался с дубом КПСС» была трагична. Не легка она будет и на Западе, застигнутом «ночью Рима». Жизнь Солженицына на Западе будет духовно тяжка потому, что и здесь он будет «бодаться» за человека, но уже в глобальном масштабе. Может ли Солженицын выиграть такую борьбу? Сомневаюсь. Но дай ему Бог духовных и физических сил для нее, даже если он ее не выиграет, даже если в его «выбросе» с родины шайка оказалась бы права.

«Новый Журнал», 1975 г.

ЛЕНИН И «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»

«Мир с Брежневым, это война с Солженицыным».
Сальвадор де Мадарьяга

«Злая и преступная воля есть воля безумная и именно поэтому гибельная».
С. Франк

I. ЗАРОЖДЕНИЕ «ИДЕОЛОГИИ»

По-моему, эта книга А. И. Солженицына — великая книга. Впервые за страшные, кровавые полвека она предлагает *всему миру* ознакомиться с бесовской, инфернальной сутью большевизма, как не только русского, но мирового зла. «Архипелаг» написан с великой человечностью, с великой искренностью, ярким словом и с подачей подавляющего всякое воображение, огромного фактического материала. Всякому читателю «Архипелаг ГУЛАГ» предметно показывает, чем в своей уродливо-марксистской дикости была пресловутая октябрьская революция Ленина. И чем были Ленин и ленинцы — как люди — этот человекоубийца в окруженьи убийц. Обычно по «интеллигентской трусости», по т.н. псевдо-научной «исторической объективности» Ленина и ленинцев называют коммунистами. Но этот термин мертв и глуп. Он не определяет ни Ленина, ни ленинцев в их человеческой натуре. Мы привыкли к планетарной лжи. Для Ленина и ленинцев есть настоящее определение, это — «гангстеры с идеологией».

Литература о Ленине громадна. Советская — преимущественно лжива. В ней Ленин подрумянен и макийирован, как покойник в американском «помп фюнебр». Но есть и правдивая русская литература о Ленине. За рубежом. Здесь люди

Эта статья была прочитана, как доклад, на симпозиуме о Солженицыне, устроенном Русской Академической Группой в США, 4 мая в Хантер Колледж в Нью Иорке, и 5-го мая на симпозиуме о Солженицыне в Свято-Серафимовском Фонде.

свободно писали о Ленине и люди его хорошо лично знавшие. Есть воспоминания о Ленине, характеристики, статьи, письма. Упомяну хотя бы главных русских авторов: П. Б. Струве, Бердяев, Валентинов, Мартов, Войтинский, Нагловский, Авторханов, Алданов, Шуб, в печати меньшевиков, левых эс-эров и просто эс-ров — много материала для портрета Ленина — и политика и человека. Надо, чтобы кто-нибудь из русских зарубежных библиографов выпустил наконец зарубежную «ленининиану». Не говорю о материале на иностранных языках. Говорю только о русском.

Советской пропагандой (и подсобной, пятоколонной, иностранной) внушается, что Ленин и гигант и гений. Пусть так. Мы этого не оспариваем. Только это гигантство сродни гигантству прославленных «боссов» подпольного мира, вроде Аль Капоне, и уж, конечно, сродни гигантству и гению Гитлера. Организация Объединенных Наций, эта малоуважаемая международная организация пыталась провозгласить Ленина «великим гуманистом». За полвека, от которого «кровавый отсвет в лицах есть», мы привыкли к разным махинациям. Но мы, русские, знаем, *что такое большевизм,* и что представлял собой Ленин, как человек и политик — это воистину апокалиптическое чудовище, своей революцией убившее 60 миллионов людей в России и покушающееся руками своих последователей, отечественных и всесветных тупамарос, «угробить» еще больше миллионов людей во всем мире.

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын о Ленине пишет мало. И мало цитирует «гения». Может быть он не хотел чересчур дразнить гусей? Ведь свою замечательную книгу Александр Исаевич писал и написал в рабовладельческой империи Ленина, живя в городе, где стоит постыдный для всякого мыслящего человека МАВЗОЛЕЙ с восковой куклой вождя, куда до сих пор водят стада дураков-туристов и гоняют отечественные «экскурсии» — смотреть на *останки марксизма-ленинизма.*

Когда то французский якобинец Камилл Демулэн (тоже личность вполне кровавая), обращаясь к французам, говорил, что, так называемые, «великие люди» только оттого кажутся им «великими», что они созерцают их, стоя на коленях. «Так, встаньте же!» восклицал Камилл Демулэн. И тут он был, разумеется, прав. Солженицын давно порвал с подобным коленопреклонением. Но сколько людей, как например Рой Медведев

(статью которого об «Архипелаге» мы гостеприимно печатаем), все еще никак не могут встать с колен перед Лениным. А многие из них даже и не хотят встать, считая, что жить на четвереньках удобнее, чем стоять во весь рост. «Четыре ноги — хорошо. Две ноги — плохо», писал Орвел в знаменитом «Скотском Хуторе». Но Александр Солженицын — перед всем миром! — встал во весь рост! Во весь свой богатырский рост!

С умной иронией Солженицын пишет о Ленине: «И хотя В. И. Ленин в конце 1917 года для установления «строго революционного порядка» требовал «беспощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц», т.е. главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где-то там в третьем ряду, — однако он же ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (7 и 10 янв. 1918 г.) В. И. Ленин провозгласил общую единую цель «*очистки* земли российской от всяких вредных насекомых». И под «*насекомыми* он понимал не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих отлынивающих от работы». (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став *диктаторами* тут же склонились отлынивать от работы для себя самих). А еще... «в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне... нет... саботажников, называющих себя интеллигентами?». Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут желтый билет», где *расстреляют тунеядца;* тут на выбор — тюрьма «или наказание на принудительных работах тягчайшего типа». И дальше Солженицын продолжает с той же иронией: — «И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести... если б пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: *внесудебную расправу* и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК — Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение *решения*».

Тут Солженицын чуть-чуть не прав. Такие «органы» в истории бывали. У Гитлера было Гестапо с «внесудебными

расправами». В 12-м — 15-м веках «внесудебно» расправлялись трибуналы испанской инквизиции. «Органы расправы» существуют у Мао-Тзе-Дуна. А в частном порядке существуют в американском преступном мире, так называемом Organized Crime. Во всяком сообществе, целью которого является грубое насилье над людьми, «органы расправы» рождаются автоматически. Но прав А. И. Солженицын в том, что по территориальному размаху и числу миллионов жертв, созданный Лениным «Архипелаг ГУЛАГ» превзошел в мировой истории всё. Но так как Солженицын о Ленине все же недостаточно, помоему, говорит, я думаю — надо кое-что сказать об этом человеке дополнительно.

По своей природе Ленин был насильник, маньяк самовластья, маньяк именно — *его* — неограниченной власти. До революции в большевицкой партии он был мало того что диктатор, он был «непогрешим». И когда пришла революция Ленин в октябре полез напролом к власти *своей* партии, то-есть, к *его* власти уже во всей стране. И он захватил эту власть, подмяв под себя немногих из своих еще колебавшихся «не социалистов, а мошенников», как их гениально определил Достоевский в «Бесах». Знаменательно, что основоположник русского марксизма и в этом отношении «учитель» Ленина, Георгий Валентинович Плеханов при известии о захвате Лениным власти, в отчаяньи сказал: «пропала Россия, погибла Россия!». Плеханов, как никто, знал Ленина.

Основатель Чехословацкого Государства Томас Масарик в книге «Идеалы гуманизма» так определял свой социализм: «мой социализм, это — просто любовь к ближнему». Масарик любил и человека и его свободу, он хотел *служить* людям. Поэтому в свое время и был близок к Льву Толстому. Ленина же и его «шайку» — Пелагаеи, Марьи, Иваны, Петры — не интересовали ни в какой степени: ни они, как люди, ни тем паче их свобода. Ленинская шайка в октябре бросилась только к властвованию *над* людьми, к подавлению народа своим ничем неограниченным самовластьем. Конечно, среди большевиков были и, так называемые, «идеалисты», к уголовщине Ленина не склонные. Был старый большевик Ольминский, осмелившийся написать: «Можно быть разного мнения о красном терроре, но то что сейчас творится, это вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина». Был большевик Дьяконов, попро-

бовавший напомнить Ленину и его шайке: — «Разве вы не слышите голосов рабочих и крестьян, требующих устранения порядков, при которых могут человека держать в тюрьме, по желанию передать в трибунал, а захотят — расстрелять». Были даже такие, как Тимофей Сапронов, на IX съезде партии крикнувший Ленину — «невежа!... олигарх!». Но все эти, по Ленину, «дурачки» и несмышленыши кончили плохо: раньше или позже их всех расшлёпали несгибаемые ленинские неандерталы.

Я полагаю, что некоторых из читателей, настроенных «прогрессивно», будут шокировать мои слова «шайка» и «уголовные преступники» в приложении к Ленину и ленинцам, которых на языке «научного социализма» надо называть «марксистами». Но что тут поделать, определения эти не мои. «Шайка» — это определение известного левого социал-демократа интернационалиста Юлия Осиповича Мартова (Цедербаума), долголетнего личного друга Ленина, соратника по «Искре». Он был одним из двух социал-демократов с которыми Ленин был на «ты» (второй был Кржижановский). С Лениным Мартов основывал РСДРП. Так вот, еще в 1908 году Мартов писал Аксельроду: «признаюсь, я все больше считаю ошибкой самое номинальное участие *в этой разбойничьей шайке*». А его адресат Павел Борисович Аксельрод, столь же известный основоположник РСДРП, в 1918 году писал о Ленине и ленинцах: «...не из политического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал десять лет тому назад ленинскую компанию, как *шайку черносотенцев и уголовных преступников*... Такого же характера методы и средства при помощи которых ленинцы достигли власти и удерживают ее». Кстати, и Петр Бернгардович Струве определял большевизм, как *черносотенный социализм* и как смесь западных ядов с истинно русской сивухой.

Итак, в приложении к создателю «Архипелага ГУЛАГ» и его палачам я обелен в своей терминологии и Мартовым и Аксельродом. Характерно, что совершенно также характеризует шайку ленинцев выдающийся советский ученый Анатолий Павлович Федосеев, только в мае 1971 года бежавший из Совсоюза. В сборнике статей «Социализм и диктатура» он пишет, что ленинизм привел «к захвату власти проходимцами и подлецами, не стесняющимися в средствах для удержания власти».

Как все люди Запада и американцы не понимают сути боль-

шевицкой шайки, ее натурального волевого импульса. Но американцы это поняли бы, если бы, например, — назвавшись Советским Американским Правительством Рабочих и Крестьян — правительство США в течение пятидесяти с лишком лет состояло из Аль Капоне, Люки Лучиано, Джозефа Бонанно, Франка Костелло, Тони Аккардо, Датч Шульца, Мо Делица, Мейера Ланского, Луи Лепке, Арнольда Ротштейна, Мики Кона и других знаменитостей «организованной преступности». Правда, убийцы с идеологией все-таки всегда будут страшнее убийц без идеологии.

Великий отец христианской церкви Блаженный Августин в своем знаменитом трактате «О граде Божьем» (De Civitate Dei) так писал о государстве: «если мы отбросим право и справедливость, то что такое государство, как не большая шайка разбойников? И что такое шайка разбойников, как не маленькое государство?» Эту суть «государства разбойничьей шайки» Ленин превосходно чуял и понимал. И сразу же по захвате власти в России создал жесточайшую систему террора, с годами разросшуюся в небывалый «Архипелаг ГУЛАГ». Дерзайте быть страшными или вы погибнете!

И. А. Бунин в «Окаянных днях» 2 марта 1918 г. записал: «Съезд Советов. Речь Ленина. О, какое это животное!». И Бунин, по-моему, — прав. В Ленине было мало человеческих чувств. Это было именно одноглазое и даже не политическое, а партийное животное с уголовными манерами. И Блез Паскаль, и Владимир Соловьев, и Достоевский считали, что совесть прирождена человеку. К сожалению, думаю, что все-таки не всякому. Есть уроды. В революционном мире всегда было довольно много «моральных идиотов». И Ленин, Сталин, Азеф, Гельфанд-Парвус принадлежат именно к ним, при чем два последние — Азеф и Парвус — тоже были и не без «гениальности» и не без «гигантства». «Морально то, что полезно партии», говорил Ленин. Вот — типично готтентотская мораль. И таких «изречений» основателя «Архипелага ГУЛАГ» — множество. Но, чтоб покончить с темой о Ленине, я приведу только два факта из его биографии, совершенно бесспорно подтверждающих тезу о *полнейшем аморализме* Ленина, ужасающем всякое нормальное сознание.

Во время русско-японской войны Азеф — глава террористической организации партии с.р. и член ЦК партии — брал

на свой террор деньги от японцев. И это ни в коей мере его не волновало. Во время первой мировой войны — через Фюрстенберга-Ганецкого и Гельфанда-Парвуса — Ленин получил миллионы золотых марок от немецкого генерального штаба для антивоенной, разрушительной революционной работы в России. Известный лидер германской социал-демократии Эдуард Бернштейн, разоблачая эту связь Ленина с Кайзером Вильгельмом II, в январе 1925 года в берлинской газете «Форвертс» писал: — «Ленин и его товарищи получали от правительства кайзера огромные суммы денег на ведение своей разрушительной работы... Из абсолютно достоверных источников я выяснил, что *речь шла об очень большой, почти невероятной сумме, несомненно больше 50 миллионов золотых марок...*»

Ленин, конечно, прекрасно понимал почему ему давали эти деньги, но, как известно, Ленин же сказал: — «а на Россию, господа хорошие, нам наплевать...». Ленину нужна была не Россия, а «Мировая революция» и он брал миллионы от императора Вильгельма II. Ленин брал деньги и тогда, когда государственная власть была уже в его руках, брал, чтобы удержать ее. И немецкие деньги, без которых он не захватил бы власти, не волновали Ленина также, как Азефа — японские. И что же? Он был прав: все сложилось чудесно! Ленин вышел почти сухим из воды. Если попытки разоблачений Ленина начались еще в 1917 году (Алексинский, Бурцев, Временное Правительство), то ведь только почти через полвека, когда Ленин уже давно сладко почивал в своем роскошном мавзолее на Красной Площади, на Западе опубликовали документы немецкого министерства иностранных дел, наконец-то *документально уличавшие* Ленина в получении миллионов от... кайзера. Но кто теперь об этом «неприличии» вспоминает? Даже Объединенные Нации не вспомнили, пытаясь объявить Ленина светочем гуманизма.

В сборнике германских документов под названием «Германия и революция в России», вышедшем в 1958 г. по-английски, есть замечательная телеграмма от 29 сентября 1917 г. германского министра иностранных дел фон Кюльмана о подрывной немецкой работе в России. Фон Кюльман телеграфировал представителю министерства в главной ставке: — «Мы теперь заняты работой в полном согласии с политическим отделом генерального штаба в Берлине (капитан фон Гильзен).

Наша совместная работа дала осязательные результаты. *Без нашей беспрерывной поддержки большевицкое движение никогда не достигло бы такого размера, который оно сейчас имеет. Все говорит за то, что движение это будет расти».* Этот «гений» фон Кюльман оказался чрезвычайно прозорлив. *Движение так разрослось,* что захватило полмира и, в частности, половину Германии господина фон Кюльмана. Если у него есть внуки, они могут помянуть добрым словом «подрывную работу» своего чрезвычайно умного дедушки.

В архитекторе «Архипелага ГУЛАГ», в Ленине была *большая сила.* Сила полного, высшего аморализма, также как в убийце студента Иванова, изувере Нечаеве. И неудивительно, что в то время как революционеры всех мастей шарахались от Нечаева, как от страшного пугала, Ленин очень высоко ценил Нечаева и ставил его на пьедестал *великого революционера.* Именно с Нечаевым и связан мой второй пример полного ленинского аморализма и полной беспощадности.

Известно, что Ленин называл Нечаева «титаном революции», что ленинское положение (1902 г.) — «дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию» — это нечаевская формула. Но я не останавливаюсь на всем психологическом и душевном сродстве Нечаева и Ленина, это увело бы нас далеко от «Архипелага ГУЛАГ». Я приведу только рассказ старого друга и сотрудника Ленина Бонч-Бруевича, с 1917 г. управлявшего у Ленина делами его Совнаркома. В 1934 г. Бонч Бруевич опубликовал то, что говорил о Нечаеве Ленин. Ленин говорил: — «Совершенно забывают, что Нечаев... умел свои мысли облекать в такие потрясающие формулировки, которые оставались в памяти на всю жизнь. Достаточно вспомнить, — говорил Ленин, — его ответ в одной листовке, когда на вопрос «кого же надо уничтожить из царствующего дома?» Нечаев дал точный ответ: — «всю великую ектению...» Да, весь дом Романовых!.. Ведь это просто до гениальности! Нечаев должен быть весь издан... Так неоднократно говорил Владимир Ильич», рассказывает Бонч Бруевич.

Когда в октябре 1917 г. Ленин захватил в России власть, свой восторг от нечаевской «гениальности», от «всей великой ектении» он скоро и хладнокровно привел в исполнение. Ленин зверски умертвил всех Романовых: и царя, и царицу, и всех их детей, и всех великих князей, которые были в пределах

досягаемости, за исключением одного Гавриила Константиновича, жизнь которого Ленин высочайше подарил Максиму Горькому за то, что «буревестнк революции» от оппозиции большевикам перешел к сотрудничеству с большевиками.

Говорят, что из Екатеринбурга голова Николая II-го была доставлена в Москву, в Кремль, Ленину — в банке со спиртом — как доказательство пахану, что его мокрое дело выполнено: — «вся великая ектения» уничтожена.

Ни от каких мокрых дел Ленин не падал в обморок. Вот его телеграмма от 9 августа 1918 г. Евгении Бош: — «Получил вашу телеграмму. Необходимо... провести *беспощадный массовый террор* против кулаков, попов, белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении». — А своему сатрапу Гришке Зиновьеву, председателю балаганной Петрокомунны, Ленин в 1918 г. давал такие директивы: — «Надо поощрять *энергию и массовидность террора*».

Чтобы почувствовать насколько морально гнусны были террористы французской революции достаточно прочесть хотя бы допрос и, так называемый, суд над Марией Антуанетой. Здесь весь их террор — как океан в капле воды. В «Окаянных днях» И. А. Бунин записывает 11 мая 1918 г.: — «...читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские». Разумеется. Террор якобинцев был шуточным в сравнении с террорищем Ленина, захватившем одну шестую часть земли, на которой это чудовище и заложило «Архипелаг ГУЛАГ», работающий уже многие десятилетия.

«Архипелаг» — целиком и полностью — вырос из политической доктрины и практики *именно Ленина,* из его отношения к миру и людям. Жаль, что Солженицын приводит только две цитаты из легших на бумагу мыслей Ленина, приведших в своем развитии к «Архипелагу ГУЛАГ». Солженицын приводит известные письма Ленина к своему наркому юстиции Курскому. Солженицын пишет: — «К процессу эс-эров очень торопились с уголовным кодексом: пора было уложить гранитные глыбы Закона! 12 мая, как договорились, открылась сессия ВЦИК, а с проектом кодекса все еще не успевали — он только подан был в Горки Владимиру Ильичу на просмотр. Шесть статей кодекса предусматривали своим высшим пределом рас-

стрел. Это не было удовлетворительным. 15 мая на полях проекта Ильич добавил еще шесть статей, по которым также необходим расстрел... Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции: — «Товарищ Курский! По-моему надо расширить применение расстрела...» Расширить применение расстрела! — чего тут не понять, — пишет Солженицын, — *Террор — это средство убеждения,* кажется, ясно!... Но вдогонку, 17 мая Ленин послал из Горок второе письмо: — «Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса... Основная мысль, надеюсь, ясна... открыто выставить принципиально и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и *оправдание террора...* Суд должен не устранить террор... а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире... С коммунистическим приветом. Ленин». — Комментировать этот важный документ, — пишет Солженицын, — мы не беремся. Над ним уместны тишина и размышление».

Да, скажу я от себя, — тишина и размышление нужны, ибо в то время в тиши ленинского кабинета вместо России зарождался — «Архипелаг ГУЛАГ». Но я жалею, что в книге Солженицына нет цитат из Ленина, объясняющих ради какой цели Ленин начал с тотального всеустрашающего террора? Этот террор был нужен Ленину только для того, чтобы удержать над страной, *свою* власть, *свою* диктатуру, которую он для пущей «научности» и для дураков назвал «диктатурой пролетариата». Я думаю, [illegible]местно восполнить этот некий пробел в книге Александра Исаевича цитатами из Ленина.

Например: — «Речи о равенстве, свободе и демократии в нынешней обстановке — чепуха... Я уже в 1918 г. указывал на необходимость *единоличия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица* с точки зрения проведения советской идеи». И далее: — «...Решительно никакого противоречия между советским (т.е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц *нет...* Как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного». И далее: — «...Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим». И далее: — «Научное

(?!РГ)* понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

В течение десятилетий на Западе многие, так называемые, советологи либерального типа пытались весь терроризм Ленина перевалить на Сталина, на московские «процессы ведьм», на «великую чистку» 1937 г., на «процесс врачей» и т.д. Это была ложь во спасение некой выдумки о, якобы, какой-то «демократичности» Ленина (и при Ленине), которая не только в нем (и при нем) никогда не ночевала, но была глубоко противна ему по природе. Своим «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицын восстанавливает историческую правду. Он пишет: — «Когда теперь бранят *произвол культа,* то упираются всё снова и снова в настрявшие 37-й и 38-й годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни ДО не сажали, ни ПОСЛЕ, а только в 37-м и 38-м. Не имея в руках никакой статистики, не боюсь, однако ошибиться, сказав, поток 37-го и 38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только может быть — одним из трех самых больших потоков, распиравших мрачные вонючие трубы нашей тюремной канализации».

Большая заслуга Александра Исаевича Солженицына в том, что *именно к Ленину,* ко всему его большевицкому заговору и перевороту он относит закладку страшной машины убийств и ломки человеческих тел и душ.

2. ВОПЛОЩЕНИЕ «ИДЕОЛОГИИ»

«Голубые канты» — одна из сильных глав «Архипелага ГУЛАГ». Общеизвестно положение и Ленина и Дзержинского: «каждый большевик должен быть чекистом». В вопросе о терроре вся головка большевиков — от Ильича до Бухарчика — никогда не фальшивила. «Классовая борьба». Ее очень хорошо называл Н. К. Михайловский — «школой озверенья».

«Устрашение является могущественным средством политики и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать»,

* Известно, что «учение» Ленина называется «*научным* социализмом», хотя всякий дурак должен бы понять, что ничего «научного» здесь нет. И диктатуру (свою) Ленин определяет, как «научную», что является просто уже бредом.

писал Троцкий. «Буквы ГПУ не менее страшны для наших врагов чем буквы ВЧК. Это самые популярные буквы в международном масштабе», писал Зиновьев. «Революции всегда сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное. И мы должны применять все меры террора... Я требую организации *революционной расправы!»*, говорил Дзержинский. «Трибунал, — это не суд, в котором должны возродиться юридические тонкости... Если целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на голову подсудимых, то никакие... убеждения словом не помогут. Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего», говорил Крыленко. «Мы не отличаем *намерения* от самого *преступления* и в этом *превосходство* советского законодательства перед буржуазным», выссказывался Вышинский. Можно привести такие же морально готтентотские цитаты из выступлений и писаний Сталина, Менжинского, Лациса, Петерса, Урицкого, Кагановича, Микояна, Володарского, Ягоды, Ежова и других членов «шайки». Но я думаю, это излишне.

О психологии «каждого большевика» долженствующего тем самым «быть и чекистом» писалось много, но только Солженицын подал эту тему так, как должно́. Его «голубые канты» живут и незабываемы.

Говоря о таких ленинцах-чекистах, как Абакумов и Берия (этот тип своих подручных Ленин удовлетворенно называл «рукастыми коммунистами») Солженицын пишет: «Они по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой культуры и взглядов — и они таковы... Им по службе нужно только четкое исполнение директив и бессердечность к страданьям — и вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их руки, душно ощущаем их корпус, донага лишенный общечеловеческих представлений... Они понимали что *д е л а* (арестованных, *Р. Г.)* — дуты и всё трудились за годом год. Как это?...», спрашивает Солженицын. И отвечает словами колымского следователя: — «Ты думаешь, нам доставляет удовольствие применять воздействие (это по-ласковому — ПЫТКИ, поясняет Солженицын). Но мы должны делать то, что от нас *требует партия*».

ПАРТИЯ. Слово сказано. Это и есть та знаменитая нечаевско-ленинская «организация профессиональных революционеров», которая должна была «перевернуть Россию», не

видя ни ее крови, ни ее слез. Она ее и перевертывает 57 лет. Кто? Эти самые «голубые канты» — дети и внуки Ильича, для которых он изобрел особую ленинскую идеологическую инъекцию из марксизма, пугачевщины и шигалевщины. Для изобретения такой «сыворотки» Сталин был мелкотравчат.

Конечно, в чекистских «легендах», в полной вымышленности, так называемых, «преступлений» ничего нового нет. Всякий революционный террор всегда живет такой вымышленностью. Так было у якобинцев. Так было и есть в Китае у Мао Тзе Дуна. Так было и есть в империи ГУЛАГ. Чем же заговорщикам удержать свою власть, как не ужасом?

Вспоминаю статью американского философа Сиднея Хука. К нему пришел известный немецкий поэт, коммунист, его друг Берт Брехт. Это было в дни самого страшного по своей сатанинской вымышленности сталинского террора. Хук естественно спросил Брехта, что он об этом думает? И коммунистическая интеллектуальная знаменитость без запинки ответила: «чем больше они невиновны, тем больше они виноваты». Хук подал Брехту пальто и шляпу. И больше его не видел. «Формула Брехта» определяет всю психологию «голубых кантов».

С порабощением рабочих партаппаратом из ленинской «идеологической инъекции» исчезли признаки марксизма («фабрики рабочим!») После погрома и закрепощения крестьянства («земля крестьянам!») исчезла пугачевщина. Что же осталось от «идеологической инъекции»? Осталось главное, что привело «шайку» к власти — шигалевщина. «Мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю. Полное равенство... Но у рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность... Одно или два поколения разврата теперь необходимо: разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, себялюбивую мразь — вот что надо! А тут, чтобы еще к свеженькой кровушке попривыкли...», — говорит в «Бесах» Петр Верховенский, практик шигалевщины. Недаром о «Бесах» Достоевского Ленин говорил: — «омерзительно, но гениально!». Стало-быть Достоевский что-то — самое нутряное — нащупал в нечаевщине-ленинщине. Конечно, теперешние «голубые канты», все эти разъевшиеся, номенклатурные мурлы и хари снизили шигалевщину с ее интеллигентского уровня

до уровня грубоживотного, разбойного примитива. Они уже гораздо ближе к Федьке Каторжному чем к Шигалеву.

Солженицын пишет: «По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишенные ВЕРХНЕЙ сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с тем большей полнотой и жадностью живут в сфере нижней. А там владели ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы: инстинкт ВЛАСТИ и инстинкт НАЖИВЫ. (Особенно — власти. В наши десятилетия она оказалась важнее денег...) Для людей без верхней сферы власть — это трупный яд. Им от этого зараженья — нет спасенья».

Но все же, конечно, от Ильича Первого и его ленинизма Ильич Второй — Брежнев — не отрекается. Да и не может. Чем же ему было бы *жить?* Даже книгу своих глубокомысленнейших речей он так и озаглавил — «Ленинским курсом». И КПСС и КГБ до сих пор освящены и ославлены именем великого Ленина. Солженицын так пишет об этой единственной, всесильной опоре ленинского государства — о гордости партии — о «голубых кантах»: — «...Ты выше открытой власти с тех пор как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ТЫ делаешь никто не смеет проверить, но всякий человек подлежит твоей проверке... Ведь один ты знаешь *спецсоображения,* больше никто. И поэтому ты всегда прав... Все твое теперь! Все для тебя! Но только будь верен Органам! За тебя всегда заступятся! И всякого обидчика тебе помогут проглотить! И всякую помеху упразднят с дороги! Но — будь верен ОРГАНАМ! Делай все что велят... Ничему не удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только Органы, остальным просто дают поиграть... Нет, это надо пережить — что значит быть голубой фуражкой. Любая вещь, какую увидел — твоя! Любая квартира, какую высмотрел — твоя! Любая баба — твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногой — твоя! Небо над тобой — твое, голубое!...»

Мартов, Валентинов, Войтинский, Нагловский, и другие хорошо знавшие Ленина, пишут, что к людям Ленин относился «с недоверием и презрением» (Мартов). «Надо ко всем людям относиться без сантиментальности, надо держать камень за пазухой» — вот формула Ленина еще 900-х г.г. (Валентинов). Члены его заговорщической, конспиративной партии рассматривались им, по его собственному выражению, как «партийное

имущество». И ценность этого «имущества» Ленин измерял одним аршином: «полезности».

«Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый!» Так, в 1907 году говорил Ленин члену Большевицкого Центра проф. Н. Рожкову о Викторе Таратуте, который «по директиве» Ленина подвалился к богатой московской купчихе Елизавете Шмит, чтобы — через постель — получить деньги на большевицкую партию, на Ленина. И Таратута это прелестное и приятное задание Ильича выполнил целиком и полностью. Капиталы Шмит попали-таки в руки Ленина.

Я не знаю, чем кончил Таратута? Но несомненно при Ленине и после него он вполне бы мог быть и на месте Петерса, и на месте Ягоды, и на месте Берии, руководя «голубыми кантами», ибо «заповеди» Таратуты и «голубых кантов» родились из того же бесовского аморализма Ленина. Ленину на его дело были нужны деньги. И он шел на получение их не только «через постель купчихи», но и через настоящие грабежи (с убийствами), чего Маркс как-то не предвидел и чему, кажется, слава Богу, не учил.

В 1906 г. по директиве Ленина его ближайшие подмастерья Коба (Сталин) и Камо (Тер-Петросян) совершили вооруженное ограбление в Чиатури. Из награбленной 21 тысячи рублей 15 тысяч пошли к Ленину, в его «большевицкий центр». Крупные деньги шли от грабежей и позже — от ограбления на корабле «Николай I» и в Бакинском порту. Но самым крупным (просто грандиозным!) ленинским мокрым грабежом (то-есть, с убийствами) было знаменитое в анналах партии ограбление Кобой и Камо тифлисского Государственного банка в июне 1907 года. Тут грабители-марксисты применили бомбы. (Не от этих ли бомб в наши дни бомбы взрываются по всему миру?! Конечно, от этих ленинских!). Бомб было брошено около десяти, были убиты три человека и 50 ранены, зато в кармане Ленина оказались около 300 тысяч рублей (а тогда рубли были золотые!). В 1912 году под руководством, посланного Лениным из-заграницы, Камо ленинцы-бандиты грабанули денежную почту на Каджарском шоссе, при чем были убиты семь казаков. Вот по какой дороге «воля к власти» вела социалистического

насильника Ленина и привела к октябрьской революции и тоталитарной империи «Архипелага ГУЛАГ». Аморализм голубых кантов не упал с неба. Это чистое «учение» Ленина.

Не помню кому в свой последний приезд в Париж (кажется, Адамовичу?) Анна Ахматова говорила, что «Достоевский ничего не понимал в убийстве». У него Раскольников, убив старуху-процентщицу, терзается душевно: «все позволено?» или «не все позволено?» А «у нас», говорила Ахматова, человек убивает 30 человек и вечером с женой едет в оперу. Кто же этот человек? Этот «голубой кант»? По Ленину, это «носитель объективной истины», образцовый большевик-ленинец. Это м.б. Ягода. М.б. Агранов. М.б. Мессинг. М.б. Петерс. Как у «носителя объективной истины» у него и не должно быть от этих убийств никаких охов и ахов. А раз так — то он и едет с женой в оперу освежиться, отдохнуть для завтрашней работы.

В книге Валентинова «Встречи с Лениным», кстати, приведен даже диалог между Валентиновым и Лениным на эту тему: о совести у преступника. «Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек. Так легко дойти до 'все позволено' Раскольникова», — говорил Ленину Валентинов.

«Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением. — Все позволено! (сказал Ленин). Вот мы и приехали к сантиментам и словечкам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине! Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом все хлопал в землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?»

Ленин в марксизме занимал позицию некой якобинской марксятины. Для Ленина старуха-процентщица была не человек, она была — некий схематический знак «классового врага» и убить ее было и можно и может быть нужно. У марксистов такого толка человеческая личность всегда была — «quantité negligeable». Вот из такой ленинской марксятины прямехонько и родился «ленинец», шлепающий 30 человек (потенциальных иль мнимых, не все ли равно) «врагов народа» и после этого

едущий в оперу. Голубому канту — «все позволено». Из этого ленинского «все позволено» и родился «Архипелаг ГУЛАГ».

Кстати, люди близко знавшие Ленина отмечают в его характере приступы ража, внезапного бешенства, злобу, беспощадность, беспринципность и, как пишет Валентинов, «дикую нетерпимость, не допускающую ни малейшего отклонения от его, Ленина, мыслей и убеждений». «Для терпимости существуют отдельные дома», говорил Ленин. В той же книге «Встречи с Лениным» Валентинов рассказывает, что известный большевик и писатель А. А. Богданов, по профессии врач (Бердяев в «Самопознании» пишет — врач-психиатр) в 1927 году говорил Валентинову: — «Наблюдая в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками ненормальности».

В Ленине для его партийцев, также как в Гитлере для его партийцев (Der Führer weiss alles!), была воплощена вся истина. И партия шла за Лениным, как за идолом. Бухарин писал, что «Ленин вел партию, как власть имущий». Уже это отдает идолопоклонством. По множеству свидетельств оно и было. Конечно, бывали в ЦК кое-какие «бунты», несогласия. Но все они, как пишет Мартов, были всегда «бунтом на коленях». Когда же кое-кто заходил в своем «личном мнении» слишком далеко, то Ленин действовал очень решительно. Томского за такое «бузотёрство» он немедленно выслал в Туркестан. Г. Мясникова арестовал и сослал на Кавказ, откуда он бежал заграницу. А в Кронштадте без суда расстрелял всех восставших против него коммунистов.

А. Д. Нагловский, старый большевик, хорошо знавший Ленина, бывший первый советский торгпред в Италии, избравший на Западе свободу и ставший невозвращенцем, так описывает «демократизм» заседаний ленинского Совнаркома: — «У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин... На скамейках, стоявших перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы. Такие же скамейки стояли у стен... на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы... В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпимым и подчас свирепым, осаживавшим «учеников» невероятными по грубости окри-

ками... Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить «против Ильича...» Самодержавие Ленина было абсолютным... Обычно во время общих прений Ленин вел себя в достаточной степени безцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил: — Стало-быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! — Далее следовало часто совершенно несвязанное с прениями «ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. «Свободы мнений» в Совнаркоме у Ленина было не больше чем в совете министров у Муссолини и Гитлера».

Тот же А. Д. Нагловский о смерти Ленина пишет: — «Когда Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Коллонтай, Крестинский, Луначарский, но (в самом буквальном смысле) плакали заматерелые чекисты. Любовь партии к Ленину и даже не любовь, а какое-то «обожание» были фактом совершенно несомненным. В Ленине жила идея большевизма».

Естественно, когда этот «самовластительный злодей» умер, партии, воспитанной в его самодержавии, был — как воздух — необходим новый самодержец. Он и пришел в лице Сталина, что с точки зрения бытия партии было закономерно. И Сталин пошел за Лениным, как говорит Солженицын, «точно, стопой в указанную стопу». Так и идет полувековой «Le Massacre des innocents» на глазах всего мира, заражающий своим злом землю. Конечно Сталин превзошел Ленина по числу массово убиенных. И некоторые могли при нем, вспоминая Ленина, говорить: «и злая тварь милее злейшей». Но изуверство всей этой шайки в своей сути одинаково — от Ильича Первого до Ильича Второго.

В «Архипелаге ГУЛАГ» А. И Солженицын, как искусный хирург, вскрывает всю *анатомию* этой «заплечных дел демократии», показывая *психологию* обслуживающих ее палачей от самой головки голубых кантов до какого-нибудь безымянного лагерного убийцы в небесной фуражке. Аресты, допросы, пытки, тюрьмы, концлагеря, тройки, ревтрибуналы, особые

отделы всё есть в этой страшной уголовной энциклопедии ленинизма.

Солженицын пишет: — «Арестознание — это важный раздел курсов общего тюрьмоведения и под него подведена общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные, домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчлененные и групповые... Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926 год) два билета в Большой Театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повез ее... прямо на Лубянку». ...«Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдии... Вот вокзал. В пассажирском зале или у стойки с пивом вас окликает симпатичнейший молодой человек: — 'Вы не узнаете меня, Петр Иваныч?'. Петр Иваныч в затруднении: 'Как будто нет, хотя...' Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением: 'Ну, как же, как же, я вам напомню...' и почтительно кланяется жене Петра Иваныча: 'Вы простите, ваш супруг через одну минутку...' Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Иваныча доверительно под руку — навсегда или на десять лет!... Граждане, любящие путешествовать! не забывайте, что на каждом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер...» «Вас в 'Гастрономе' вызывают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради, вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счетчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодоржный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение».

«Всеобщая невиновность, — пишет Солженицын, — порождает и всеобщее бедствие». Это как раз подтверждает формулу Берт Брехта. «Не каждому дано, — пишет Солженицын, — как Ване Левитскому уже в 14 лет понимать: 'каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят'. (Его посадили 23-х лет)». «...И в Москве начинается планомерная проскребка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. Лозунг: 'Мы

так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнется от ужаса!' ...Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают ВСЕХ, дают от трех до десяти лет (Анне Скрипниковой — 5), а несознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) — РАССТРЕЛИВАЮТ!»... «Или в том же году, где-то в Париже собираются лицеисты-эмигранты отметить традиционный пушкинский лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это — затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются ВСЕ лицеисты, оставшиеся в СССР, а заодно и — 'правоведы'»... «Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: *социальная профилактика*. Он введен, он принят... Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: 'Я верю, что лично вы ни в чем не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика»... «Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники... Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех губернских юридических работников. В 1925 году случайно это у него обнаружили — всех взяли — и всех расстреляли...» ...«Весной 1922 года Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести и 'церковную революцию' — сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке... Для этого арестован патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: — в Москве — распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде — митрополита Вениамина...»

Говоря о первых сфабрикованных в ГПУ публичных процессах — Промпартии, Трудовой Крестьянской Партии, Союзного Бюро Меньшевиков — Солженицын пишет: — «самые аляповатые детективы и оперы с разбойниками серьезно осуществлялись в объеме великого государства».

«Так пузырились и хлестали потоки — но через всех перекатился и хлынул в 1929-30 г.г. многомиллионный поток *раскулаченных*. Он был непомерно велик и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем, но он миновал ее, он сразу шел на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ... Этот поток (этот океан!) выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России... Озверев, потеряв всякое представление о 'человечестве', — лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу... Поток 29-го-30-го годов протолкнувший в тундру и тайгу миллиончиков пятнадцать (а как бы не поболе). Но мужики народ бессловесный, ни жалоб не написали, ни мемуаров... Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелее».

«...Поток этот отличался от всех предыдущих еще и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьей. Напротив, здесь сразу выжигали только гнездами, брали только семьями и ревниво следили, чтобы никто из детей, даже четырнадцати, десяти или шести лет не отбился бы в сторону: все наподскрёб должны были итти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был ПЕРВЫЙ такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторил Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями)».

Страшно вспомнить, что на Западе в социалистических кругах II Интернационала этот всероссийский крестьянский погром в «15 миллиончиков» человеческих жизней вызвал у некоторых социалистов «научный интерес». О нем писали, как о «новом» социальном эксперименте — коллективизации деревни. К нашему стыду эти ноты раздавались и в русской зарубежной социалистической печати. Впрочем, это вполне увязывалось с «доктриной», с тем, что Маркс и Энгельс всегда говорили об «исконном идиотизме деревни». Но когда Гитлер начал уничтожать приверженцев II Интернационала никто на Западе не написал, конечно, что это «интересный социальный

эксперимент». Запад глубоко виноват перед Россией своим молчанием перед ужасами террора шигалевской шайки.

В конце главы «История нашей канализации» Солженицын спрашивает: — «Объединить ли все теперь и объяснить, что сажали *безвинных?* Но мы упустили сказать, — говорит он, — что само понятие *вины* отменено пролетарской революцией, а в начале 30-х годов объявлено *правым оппортунизмом.* Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях: вина и невиновность».

Солженицын прав: в ленинском государстве пытками понятия вины и невиновности стёрты, им нет места, если на «пыточном следствии» арестованному, — как пишет Солженицын, — «будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые органы, а в виде самого легкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо».

В 1918 году, защищая свой террор, Троцкий писал: — «Трудно обучить массы хорошим манерам. Они действуют поленом, камнем, огнем, веревкой». Через некоторое время Троцкий на себе самом испытал «дурные манеры» масс, правда, не полено, не камень, не огонь, не веревку, а острый ледоруб, которым сталинский голубой кант Рамон Меркадер размозжил голову этому террористу. «Злом злых погублю».

На XXII съезде Хрущев разорялся о «недопустимых методах физического воздействия». Но это, конечно, был только тактический и безошибочно сильный «ход конем» в борьбе Хрущева за власть. Пытки были при Ленине, были при Сталине. И эпигоны их не отменили. Если отменили «либерально», для Запада, — введение раскаленного шомпола в анальное отверстие, то создали новые страшные пытки в психбольницах, разрушая психически человека впрыскиваниями соответственных химикалий.

От методов физического и психического насилья над человеком, от его ломки и сламывания, ленинская шайка отказаться никогда не могла и не может. Она труслива и (не без оснований) предполагает, что такой отказ приведет к «индонизийскому финалу». «Архипелаг ГУЛАГ» это — героическая

и титаническая попытка борьбы с шайкой путем раскрытия всех ее преступлений против человека. «Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?», — пишет Солженицын. И добавляет: — «Смутно чуется мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам».

И Солженицын, действительно, закричал двумстам миллионам. Его «вопль» уже услышан в мире и его еще услышат десятки, если не сотни, миллионов. Эхом вопль уже доходит и до родной стороны. Небывалым страданьем — своим — и состраданием к великому страданию всего народа Солженицын духовно победил шигалевскую шайку Ленина. И мне хочется закончить статью такой нотой. Мы — русские и у нас есть Солженицын! В этом — наше, большое счастье!

«Новый Журнал», 1974 г.

ЧИТАЯ «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО» А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Это никак не «литературоведческая работа». Это просто при чтении книги мои мысли, впечатления, сомнения, удивления, недоумения (даже порой возмущение) и — восхищение! Но прежде всего об авторе: А. И. Солженицын для меня не только выдающийся современный писатель. Для меня он — исключительное *явление*. Без Солженицына мы, русские, были бы сейчас бедны не только литературно (почти нищи!), но и духовно.

Трудно себе представить, *как* в Совсоюзе мог появиться такой духовно-нетронутый тоталитарщиной человек и писатель. Но он появился. И его появление в жизни России (вневременной, а не советской) — необыкновенная духовная радость.

Солженицын — единственный современный писатель, кто вернул нашу литературу к ее необыкновенному правдолюбию и к вечным русским этическим темам. И в этом он наследник великой литературы 19 века. Его часто сравнивают с Толстым, с Достоевским. Я не сторонник этих сравнений. Но Солженицын, конечно, идет по их пути, пренебрегая низменной литературной современностью. Он не только вне всей советской халтуры, стряпни «инженеров человеческих душ», он вне и деляческой западной литературы с ее трюкачеством и сексплоатацией.

Новую книгу А. И. Солженицына я ждал с большим интересом. Тем более, что слышал, что тема ее взята писателем не из советской а из дореволюционной русской жизни. Не скрою, я сомневался, сможет ли автор незабываемого «В круге первом» поднять на ту же художественную высоту тему из неведомой ему былой России. Ведь Лев Толстой был трижды прав, говоря, что писатель может писать только о том, что *он знает*.

И вот новая книга Солженицына — нежданно-негаданно вышла в зарубежном издательстве ИМКА-пресс, да еще с специально написанным послесловием автора. Из этого послесловия мы узнаём кое-что поучительное. «Эта книга сейчас не может быть напечатана на нашей родине, иначе, как в Самиздате — по цензурным возражениям, не доступным нормальному человеческому рассудку, — пишет в послесловии Солженицын, — да даже из-за того одного, что потребовалось бы писать Бога непременно с маленькой буквы». А это, как говорит Солженицын, для него невозможно не только потому, что «для понятия обозначающего высшую твроческую силу Вселенной, можно бы отпустить одну большую букву», но и потому, что «в устах и представлениях людей 1914 года «бог» с маленькой резало бы исторической фальшью».

Желание не дать в «Августе Четырнадцатого» никакой «фальши» (т.е. неточности и неверности) я понимаю. И потому в отзыве об этой эпопее, я, как свидетель истории, позволю себе указать на те места, где эти неточности и неверности в описании быта, характеров, психологии и языка дореволюционных русских людей, проникли в книгу. И тут несмотря на большую благодарность Солженицыну за то, что он в русской литературе ЕСТЬ, я буду свободен от всякого «идолопоклонства», к чему мы, русские, часто склонны «от любви» («коль любить, так без рассудка»).

Солженицын взял на себя чудовищно трудную задачу: воскресить (в «войне» и «мире») былую Россию, в которой он никогда не жил, воздухом которой он не дышал. И не только воскресить, но указать на причины ее катастрофы. «Русские писатели, старшие меня по возрасту, — пишет в послесловии Солженицын, — обошли главную тему нашей новейшей истории или скользнули по ней поверхностно. Тем меньше надежды, что ей займутся младшие меня, да и будет им еще безнадежней воскресить те годы, и моему-то поколению почти НЕВПОДЫМ! (хорошее слово! РГ). Так надо попробовать мне!». Солженицыну в «Августе» многое удалось. Но очень многое, по-моему, и не удалось.

И читатель и писатель всегда в праве отозваться на любую книгу. У меня же, как мне кажется, есть еще особое право отозваться об «Августе». Ведь я, собственно, и есть один из младших героев этой книги Солженицына — его Исаакий

(Саня) Ложеницын, в котором автор, вероятно, дает воображаемый портрет, скончавшегося в 1918 году, его отца, офицера-артиллериста. Как и я, Саня попал в армию с третьего курса Московского университета. Только Саня был филолог, а я — юрист. Он попал в артиллерию, я — в пехоту. Как и я, Саня в юности был толстовцем. Только я хотел поехать к Толстому, но так и не решился, не осмелился (о чем посейчас жалею), а Саня осмелился и у Льва Николаевича побывал (правда, не очень удачно). В первом «узле» Саня еще не попал в действующую армию. Как и я, офицером, он наверное попадет во втором «узле».

«УЗЛЫ»

Кстати, об «узлах». «Узел» меня сначала покоробил нарочитостью. Почему не том и не часть? Правда, я люблю предельную простоту. Солженицын же насчет простоты не так уж чтоб очень... вот и родился «узел». Взяв темой — величие и падение Российской Империи — Солженицын видит в ее падении ряд «узлов». Первый — пораженье под Танненбергом. Второй — по моей догадке — вероятно будет пораженье в Галиции, где вместо генералов Самсонова, Мартоса, Жилинского, Крымова, Благовещенского, Артамонова мы наверное увидим генералов Алексеева, Брусилова, Корнилова, Каледина, Лечицкого, Деникина и др. В этом же «узле» вместо вел. кн. Николая Николаевича мы должны увидеть Верховным — государя, может быть увидим и императрицу Александру Федоровну, может-быть Распутина (думаю, его мог бы хорошо подать Солженицын). Третий «узел» — по моей догадке — это революция, «Керенский на белом коне» (Канегиссер), новое военное пораженье на юго-западном фронте. Октябрь? Большевики? Ленин? О дальнейших «узлах» трудно догадываться, но по одному месту эпопеи кажется, что Солженицын задумал еще много «узлов», вплоть до сталинщины и второй мировой войны.

«— А мне в Маньчжурии старый китаец гадал... Нагадал, что на той войне меня не убьют и на сколько войн ни пошел — не убьют. А умру все равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве не счастливое предсказание?

— Великолепное! И подождите, в каком же это будет году?

— Да даже и не выговоришь: в тысяча девятьсот сорок пятом».

Это разговор полковника ген. штаба Воротынцева с подпоручиком Харитоновым. А Воротынцев — единственное, кажется, из видных военных вымышленное лицо (явный рупор автора). Кстати, он прекрасно выписан. Живой. О Воротынцеве за рубежом и русские и иностранцы писали, что он чем-то напоминает им князя Андрея Болконского. Я этого никак не думаю. Мне он напоминает совсем другого князя из русской литературы — князя Серебряного. Как и в Серебряном в нем есть что-то от героев Вальтера Скотта, эдакий руссифицированный Квентин Дорвард. А его Санчо Панчо — унтер-офицер Благодарёв — связывается у меня с стремянным князя Курбского, — с Васькой Шибановым «Скачи, князь, до вражьего стана / Авось, я пешой не отстану!»

О ЯЗЫКЕ

У всякого писателя есть право на словотворчество, на слововыдумку. Тут спора нет. Но слововыдумка слововыдумке — рознь. Когда Достоевский устами своего персонажа говорит о Грушеньке — «инфернальница» — это метко и прекрасно. Когда где-то у Льва Толстого баба заплакала «ручьисто» — это чудесно. Когда Глеб Успенский изобрел «несусветное перекобыльство» — это метко и хорошо. Когда Лесков играет словами — «Почему митрополит, а не митростреляет? Потому, что вы дурак, а не дурыба» — это настоящая остроумная языковая игра. Когда Пильняк также играет — «кому — ляторы, а кому — таторы» — это прекрасно. Когда Замятин выдумывает ироническое «детоводство» — это очень хорошо. Даже когда Игорь Северянин выбросил свою «обнаглевшую бездарь», это было метко и «бездарь» удержалась в языке. Но когда Председатель Земного Шара, Велемир Первый, Владыка Мира, Хлебников творит свои «самовитые», алхимические неологизмы («шагай, могатырь! можарь, можар!») они, увы, остаются мертворожденны. Разве что остались знаменитые «смехачи». Украшает, увеселяет, обогощает язык только живая, живучая меткость и врезающаяся образная точность, ког-

да писатель, как стрелок в тире, попадает в «самое яблочко». А сколько таких «яблочек» у Гоголя!

Не скрою, что язык «Августа Четырнадцатого» заставил меня скорбеть. Особенно — в первой половине книги. Когда вышел «Один день Ивана Денисовича», я писал об этой вещи в «Новом Журнале» (кн. 71), относя ее язык и стиль к прозе Ремизова. Однако после прочтения «Матренина двора», «В круге первом», «Ракового корпуса», я в правильности своего утверждения усомнился. Ремизовских следов почти не было. Проза же «Августа» (но не вся, к счастью!) часто очень ремизовская, и по языку и по ломанному синтаксису. Для меня это не радость. То, что было хорошо в сказовой повести об Иване Денисовиче вряд ли с удачей применимо в монументальной и, конечно, реалистической эпопее.

Поэтому признаюсь, первую половину книги я читал не только уж без захватывающего интереса, но просто преодолевая и путаясь в спотыкаче неудачных слововыдумок, неуместных диалектизмов, неприятных вульгаризмов. Прочитав первые 75 страниц (о «мире») я даже недоуменно остановился, подумав: так неужели же это литературный провал? Но тут я вспомнил разговор с Ю. Тыняновым в Берлине в 20-х годах. Говорили мы о какой-то книге и я сказал, что первые страниц 50 крайне тяжелы и как бы отрываются от всей талантливой книги. «Ну, конечно, — ответил Тынянов, — вы знаете, у меня даже есть некое технологическое правило: первые страниц 50 писатель всегда должен просто выбрасывать. Вещь пойдет сама, когда найдет свой ритм и язык». Тынянов был, разумеется, прав и говорил он об известной всякому художнику-писателю *власти материала.* О первых 75 страницах «Августа» я подумал: жаль, что Солженицын их просто не отбросил. Тут всё схематично, мертво, чувствуешь, что писатель пишет о том, *чего он не знает*, и «придумывает», и получается какая-то недопроявленная фотография.

Но сначала о языке. Самая первая фраза эпопеи меня поразила: «Они выехали из станицы прозрачным *зорным утром*, когда при первом солнце и т.д.». Я невольно остановился: «зорным»? подумал я. Что ж это такое? Южный диалектизм? Слововыдумка? Нет, это из Даля — от заря, зори. Но дано это неверно. Солженицын явно хотел сказать, что выехали «на утренней заре» или «ранним утром», но устыдясь обыкно-

венности этих слов, дал «зорным». И крайне неудачно, ибо заря с утром во времени не совпадают, а одно переходит в другое. Занимается заря, встает солнце — и зари уже нет, началось утро. Так что «зорное» утро — такая же бессмыслица, как «утренний вечер» или «вечернее утро». Я даже вспомнил знаменитое пушкинское: «Грядет с заката царь природы / И изумленные народы / Не знают как им день начать / Ложиться спать или вставать».

И чем дальше я читал «Август» тем чаще приходилось мне, читателю, задумываться и над отдельными слововыдумками и над целыми фразами с изломанным синтаксисом. «Подъезжали шарабаны, телеги, *взнимая воздушный наслой пыли*», «и с этих тупых цилиндрических *тумбенных туш им выглядело* длинное титулование монарха совсем не смешным», «мясо накладывали во все тарелки, *мясо было ежедневной реальностью*», «через темную бездну, *зинувшую* перед Россией», «Саня *покинул попытки* спать», «один раз *упнулся палкой*», «губы Толстого *безусильно сдвинулись*», «*безколебно ответил*», «тут-то и приятно полежать, *едва проснясь*», «простецкая голова свекрови *над разнесенными плечами и грудью*, выражала, в *меру ее постоянной ровноты* — изумление», «упрямо вела (т.е. говорила, *РГ*) Ирина, *с челом прихмуренным и напряжена была ее изгибистая высокая шея с голубыми прожилками*», «голова его, *в обхват парусинового картуза*», «вышагнул на дорожку» (почему же не шагнул, проще бы!), «и сразу *пережалилось Ксенье*, что она не выспалась», «стала к стволу, не испытывая желания расслабиться» (что это такое?), «*с проходящей непорочной досадой досуга* отозвалась Ксения», «кзади на 100 верст», «*простегавши* лошадей» (тут лошади превращаются, как будто, в одеяла), «*разгарчивый* восход», «с *неотвычной* простотой», «охвачен был *свербежом*», «*бочкотелая* жена», «силы *бережа*», «*заступа* была и у Жилинского» (т.е. «рука»), «разголосица», «*выступала* астма» (т.е. начинался припадок астмы), «на *поевом* и кормленном жеребце» (т.е. на напоенном), «*сбочь*», «здание *содержало в себе* некий зал», «*оболока*» (вместо чехол, наволока), «бы со сковородки подскочил полковник», «*бежавшая* страна» (т.е. покинутая жителями), «*малословный*», «*неотклонный*», «*жгутоусый*», «по дороге *спруживалось* замешательство», «*неоспорчиво* улыбался», «*поглубев*-

ший голос», «*блукают* полки» (т.е. плутают), «они *имели порыв* откатываться дальше», «*ломоногий*», «*невдоспех*», «скамья *без прислона*» (т.е. без спинки), «лоб *затмился*», «усы *выторчнули*», «*предсмакуя*», «пошло *скорохватом*», «*огорожа*» (вместо ограда, забор)... Прерываю примеры, их много...

И вспомнилось мне, как Лев Толстой однажды дал прочитать своему брату Сергею какую-то свою статью и, очень ценя мнение брата, спросил, что он о ней думает. Сергей Николаевич сказал, что когда он читал написанное Толстым, ему казалось, что он едет в тряской телеге, и только, когда прочел большую цитату из Герцена, Сергею Николаевичу показалось, что он наконец-то, слава Богу, пересел из тряской телеги в покойную коляску. Лев Николаевич смеялся, оценка показалась ему меткой. Но ведь словесная «телега» Толстого, это плавно несущийся автомобиль по сравнению со многим в «Августе Четырнадцатого». Тут у читателя идет такой «перетрях» (здесь я заражаюсь стилем Солженицына!) кишек, что он Христом Богом молит о «рессорной коляске».

Когда мы берем книгу Андрея Белого, мы знаем на что мы обречены. И не заходим в тупик, читая в «Котике Летаеве»: «в нас миры морей: «Матерей» и бушуют они красноярыми сворами бредов». Мы понимаем: это Белый экспериментирует, пиша ритмическую прозу. Ему понадобились повторы звука «р», он их и дает. Но ведь у Солженицына — по его же послесловию — в эпопее «Август Четырнадцатого» не то задание. У него задание совсем инопланное, потому так и мучительны и раздражительны читателю эти слововыдумки и словозагадки с выкрутасами.

Положа руку на сердце, скажу, что некоторых слов у Солженицына я так и не понял. Например: «развиживался», «невероимный». Но тут я опять утешился воспоминанием. В тех же 20-х годах, в том же Берлине я встречался с Л. Н. Сейфуллиной, писательницей талантливой, но почти забытой (отчасти, вероятно, по политическим причинам, ее муж, критик Валериан Правдухин погиб в тюрьме НКВД, расстрелян за «связь с оппозицией»). Но тогда произведения Сейфуллиной «гремели», особенно ее известная повесть «Виринея».

Так вот, разговаривали мы именно о «Виринее», и я сказал, что у Сейфуллиной прекрасный народный язык. Сейфул-

лина засмеялась. «А знаете, что с этим «народным языком» произошло? Я вам расскажу». И рассказала, что именно в «Виринее» было много совершенно чудовищных типографских опечаток. Но тогда «ведущий» советский критик (тоже расстрелянный, бедняга!) Александр Воронский, опубликовав отзыв о Сейфуллиной, и отметив ее необыкновенно красочный народный язык, как пример, привел именно вот эти все типографские опечатки. «Как я потом издевалась над ним!» смеялась Сейфуллина.

И вспомнил я еще другое, похожее. В том же Берлине, в те же годы сидели мы как-то в ресторане, много ели, еще больше пили, все были на взводе: Федин (он тогда был не генсек, а писатель), Никитин, Груздев и я. И вот Илья Груздев со смехом и издёвкой над Никитиным стал рассказывать, как «Колька» в своих рассказах достигает языка необычайной сочности. Пишет он рассказ, как рассказ. Потом берет словарь Даля (все 4 тома!) и начинает заменять более-менее обыденные слова самыми что ни на есть далевскими, ядрено-заковыристыми. И получается, — смеялся Груздев, — «языковой шедевр»! Никитин же просто шпиговал свои рассказы Далем, как зайца салом.

Конечно, Солженицын не «шпиговальщик». И это не параллель. Хотя Солженицын сам высказывался, что Даль, это — свежий языковой колодец, от которого, кстати сказать, Пастернак в ужасе шарахался, как от мертвечины. Но я хочу быть правильно понят, когда я говорю о языке Солженицына. Я вовсе не сторонник какого-то академизма и пуризма во что бы то ни стало. Упаси Бог! Мне скажут, что же, по вашему, Солженицын в 1971 году должен писать пушкинской прозой почти полторастолетней давности? Ну, разумеется, нет. Хоть проза «Капитанской дочки» и сейчас превосходна и если б ктонибудь так начал писать, он имел бы несомненный успех. Но всему час и время всякой вещи под солнцем. От выросшего в Совсоюзе А. И. Солженицына я не требую не только уж пушкинской, но даже бунинской прозы. Но если он в своем послесловии пишет, что хочет избежать всякой фальши, то ведь мало напечатать «Бог» с прописной буквы. Есть и другие опасные «фальши». В частности, эту эпопею былой России нельзя писать языком коробящим читателя, эту Россию знавшего, на этом языке думающего и говорящего.

Я понимаю стимул Солженицына при употреблении им всяческих простонародно «остраненных» речений. Ему думается, что «переглядясь» острее чем «переглянувшись», «насмешисто» острее чем «насмешливо», «широносый» лучше чем «широконосый», «шароголовый» лучше чем «круглоголовый». Но думаю — это артистическое заблуждение. Конечно, можно всю эпопею написать языком унтер-офицера Благодарёва. Художественно это вполне правомерно, законный литературный прием. Но дело-то все в том, что при таком «глазе» и «языке» все в эпопее ведь снизится и опримитивится. И мыслям Варсонофьева, Ободовского, Воротынцева, душевным движениям Самсонова в ней не будет места уже. Параллельно снижению языка ведь всегда идет и неминуемое снижение всего УРОВНЯ произведения — вот ведь в чем дело! И этого не избежишь. Так писал, например, Артём Весёлый — талантливо, очень «здóрово» в смысле народного словесного выкрутаса, но — бескрыло. Его проза так и осталась приземленной. А — «всё смешалось в доме Облонских», «отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе», «лакей при московской гостинице «Славянский Базар», Николай Чигильдеев, заболел» — ЛЕТЯТ!

Именно в этой книге в смысле языка Солженицын — както не свободен, по сравнению, например, с изумительным «В круге первом» — где он свободен вполне. Здесь он не пишет тем литературным русским высоким разговорным языком, каким написаны «Анна Каренина», «Бесы», «Архиерей», «Суходол». Здесь язык его ненужно напряжен. И это неминуемо ведет к отсутствию непременного условия высокой прозы — экономии художественных средств, к многословию, порой к поучительству, к некой словесной толчее, к грубости, к приблизительности. А приблизительность дает иногда и несуразные двусмыслицы. Их много. Приведу некоторые: «отошли за ночь так далеко, что немцы *не притесняли*» (т.е. не теснили, хотел сказать автор); «при *пожаренном* свете» (не сразу догадаешься, что это — при свете пожара); «четыре его роты... *оправлялись* тут со вчерашнего дня» (автор хочет сказать «отдыхали», оправляться же на военном языке имеет иной смысл и выходит будто четыре роты были больны дизентерией); о вел. кн. Николае Николаевиче — «худое породистое удлиненное лицо Верховного обострилось как *в охоте*» (ве-

роятно должно быть — «на охоте», ибо «в охоте» имеет смысл совсем неподходящий к тексту).

О языке эпопеи Солженицына я вовсе не говорю, что он весь неприятен и неверен. Нет. Много есть, на мой взгляд, словесно меткого и художественного: солдаты на походе «сгорели с ног», о дальнем артиллерийском бое — «когда кажется, что огромное жестяное дно рокочет от вгибанья-выгибанья», «на скрестьи дорог», «оледел от страха», «ощитить» (т.е. защитить), «лубенеть», «дремучебородый» и мн. др. Но порой (и этих «пор» довольно много!) читатель чувствует досаднейшие срывы, советизмы, диалектизмы, вульгарности. В «Раковом корпусе», «В круге первом», в «Иване Денисовиче», в «Матренином дворе» все эти языковые штуки были вполне на месте. Там они не только никого не могли «коробить», там они *живут*, там они нужны, *необходимы*. Но другое дело здесь, в «Августе». Возьмем, например, прекрасное описание душевного состояния одного из героев «Августа» — полк. Воротынцева, посланного из ставки Верховного на фронт, как бы для некой «инспекции»:

«Нисколько не тяготила Воротынцева бессонная ночь и еще завтрашний день, и потом, может быть сквозная безумная неделя — ибо такой обещала быть Прусская битва, и может быть *со смертью в притирку...*» Начало фразы довольно даже близко к Пушкину и вдруг полу-блатное, ультра-советское «со смертью в притирку» — как железом по стеклу. И таких мест много. Стало-быть автор не чувствует, что эти советизмы и «полублат», выраженьица, акценты и интонации, *вполне необходимые в его прежних вещах*, — в эпопее *1914 года* совершенно не у места. Это как раз и есть историческая «фальшь». Как было бы хорошо, если б все эти «притирки» остались на «шарашке» иль в кацете (где им и быть надлежит), а тут мы бы читали (не пушкинскую, не бунинскую), а вот такую *солженицынскую* прозу:

«В этом бодром движении по темной, тихой, теплой стране на Воротынцева быстро нисходила та прекрасная легкость, известная каждому военному человеку (нет, солдату реже, а именно офицеру, кто и живет для одной войны), когда непрочные нити, припутавшие тебя к постоянному месту, обрезаны начисто, тело воинственно, руки свободны, приятно чувствуешь тягу оружия на себе, голова занята прямой задачей.

Воротынцев знал в себе, любил в себе это состояние и лишь начиная с него мог почувствовать, что воюет. Для таких-то моментов он и жил, и был создан».»

Вот какой прозы, вот какого языка мы хотим от Александра Исаевича Солженицына! И такой его чудесной прозы в «Августе» сколько угодно. Тут в ней нет никаких «обрыднувших», «молчела», «перетрях», «ссовывались в погибель», «раздвижка губ», «зубы пробелевали», «заполосные события», «зачупаханные отползают», «озрился полковник», «при загаре войны», «немцы сочатся», «обоесторонние кусты», «пошли бодрой хбдой», «свежеиспеченец» и множества других плохих слововыдумок, диалектизмов, словофокусов, советизмов, которые мешают страницам, берущим читателя сразу же в полон и говорящим, что перед ним — большой своебразный мастер прозы и глубоко чувствующий художник:

«Однако веселые, крепкие эти солдаты, признанные негодными к строевой; и лихой фельдфебель; и кони крепкие; и парусина, подвернутая от дождя; и хорошо подкованный жеребец под ним, скалящий зубы, когда отставала кобылка унтера — всё это веселей и спокойней настраивало Воротынцева, чем он из штаба вышел; сильна, неисчерпаема была Россия, даже и при глупых головах. И силу эту чувствуя, он сам усилялся».

Как это хорошо! И характерно, что во всех сильных, захватывающих местах книги с языка Солженицына, как никчемная шелуха, спадают все эти ложно-далевские выкрутасы и советизмы, и Нобелевский лауреат дает сильную, мужественную прозу от чтенья которой не оторваться.

НЕВЕРНОСТИ И НЕТОЧНОСТИ

Я думаю, не будет неуместным, если я — на правах ровесника Сани Ложеницына — укажу в «Августе Четырнадцатого» на некие фактические неточности и неверности. Их не так уж много, но все-же достаточно, и лучше, если б их не было.

Вот, например, в самом начале эпопеи, когда Саня, как бы оправдываясь перед Варей в том, что он идет на войну добровольцем, смущенно объясняет ей это так: «Россию... жалко...» (сказал он). Для начала войны, для 1914 года эти

слова совсем неправдоподобны. Ведь перед той войной Россия — в сознании всех ее подданных (кто бы они не были) — стояла, как великая и неколебимая империя. Да, она и была в 1914 году на большом подъеме: экономическом, политическом, культурном, духовном. И «жалеть» ее тогда, *в 1914 году*, никому бы не могло прийти даже в голову. Конечно, где-то в ее глубинах было нездоровье. Оно было на одном фланге — двор, окруженье трона, на другом — подпольщина, революционная бесовщина. Но эти «язвы» тогда, в 1914 году, рядовым россиянам никак не были видны. И «жалеть» Россию тогда никто из русских не мог. Не было причин.

Говоря о ростовской женской гимназии, Солженицын тоже допускает бьющую в глаза неверность: «Дорожа либеральным духом своей гимназии, она (т.е. начальница, РГ) никогда не позволяла себе и классным наставницам прибегать к осведомлению через тайные допросы и доносы учениц». Это, конечно, явный «советизм», взятый из опыта советских десятилеток. В те времена в гимназиях никаких этих «осведомлений через тайные допросы и доносы» не было, да и быть не могло. Просто потому, что *предмета-то для доносов* ведь не было. О чем же могли тогда «доносить»? Не о чем.

Возражения вызывает и изображенный Солженицыным дореволюционный «капиталист», вышедший из батраков, помещик Захар Ферапонтович Томчак. Других богатеев и «капиталистов» в «Августе» нет. Томчак — один. Поэтому и выходит так, что именно он как бы символизирует собой «российских капиталистов» до революции. А если это так, то это не только неверно, но карикатурно.

Дикий Томчак, говорящий на какой-то уродливой смеси украинского с русским, неотесанный, серый «кулак», ставший несметным богатеем, это — вполне советский штамп. Он мог бы украсить любую соцреалистическую повесть Шолохова, Софронова, Кочетова, всех этих правнуков Булгарина.

Конечно, богатеи вроде Томчака были. Их портреты умел хорошо писать Горький, Чехов, раньше них — Островский. У Солженицына же Захар Ферапонтович, это какая-то шаржированная схема в советском вкусе. Но былая, богатая Россия заслуживает отнюдь не карикатуры, а — интереснейшей картинной галлереи. Возьмем хотя бы только Москву. Ее купечество. Ведь в 1914 году эту «капиталистическую» и

вполне просвещенную Россию представляли — Щукины, Бахрушины, Солдатенковы, Рябушинские, Рукавишниковы, Прохоровы, Ушковы, Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы, Бурышкины, Поляковы, Носовы, Стахеевы, Алексеевы и множество других известных купеческих родов, кому Россия обязана и картинными галлереями, и музеями, и народными университетами, и театрами, и больницами, и передовым устройством фабрик и заводов, и журналами, и издательствами, и поддержкой музыкантов, писателей, художников, артистов, певцов. Уж если Солженицыну в исторической эпопее 1914 года надо было дать хотя бы одного «российского капиталиста», то не в виде же одичалого, безграмотного Захара Ферапонтовича. Он в символы «российского капитализма» никак не годится. Это — плохой фельетон.

В связи с Томчаком остановлюсь еще на одной неверности в эпопее. Этот несметный богач Захар Ферапонтович освобождает от военной службы за взятку в воинском присутствии не только уж своего сына Романа (что вполне возможно), но сразу одним махом еще — двух своих казаков, дизельного машиниста, садовника и шофера. Ну, это уж — «замного». И — карикатура. Конечно, взятки в дореволюционной России и давались и брались, как в самых что ни на есть передовых западных демократиях. Но не так же, как это практикует Томчак у Солженицына. Ведь здесь Солженицын (даже Солженицын!) от незнанья былой России и под тотальным пятидесятилетным ядом советской пропаганды превращает Россию Николая II-го в Россию Николая I-го. И этим, увы, грешит вовсе не он один. Василий Гроссман в повести «Всё течет» делает то же самое. Покойный Аркадий Беленков в своих статьях делал то же. Не надо думать, что вбиваемая 50 лет — изо дня в день — советская политграмота отскакивает от людей, как от стены горох.

Нет, Александр Исаевич, в 1914 году мы жили в ЕВРОПЕЙСКОЙ стране, с парламентом (пусть выбранным не по классической четырехвостке, но все же с независимым парламентом!), с свободной печатью (пусть не столь свободной, как в большинстве западных стран, но все же) с независимой печатью. Мы жили в ПРАВОВОМ строе, а не в каком-то дореформенном, где Томчак что хошь то и делает. Это фальши-

вая линия, неверная атомосфера, исторически несоответствующая России 1914 года.

Кстати, о парламенте — о Государственных Думах. Характеризуя сына Томчака Романа, Солженицын опять-таки пишет историческую несуразность: — — «Он (т.е. Роман, РГ) разворачивал так все свои способности — даже государственные, еще тайные ото всех. Чем он *наверняка превосходил многих депутатов Думы — это своей резкой прямотой с людьми*». Это опять (даже у Солженицына!) штамп из арсенала советской пропаганды и опять полное незнанье и непредставленье былой России. Многого, вероятно, не доставало депутатам Российских Государственных Дум. Но чего-чего, а уж «резкой прямоты» было во всех четырех Думах сколько угодно. Даже чрезмерно много! Были и «столыпинские галстуки» (Родичев), и «исполнительная власть да подчинится власти законодательной» (Набоков), и «глупость иль измена?» (Милюков). И это еще депутаты центра, а если взять левых (Алексинского, Аладьина, Чхеидзе, Церетели, Керенского), а из правых — Шульгина, Пуришкевича, Маркова II-го (доходившего даже до «площадной ругани»), то придется признать, что «резкой прямоты» было — выше головы, до отказа. Депутаты всех Дум были свободные и независимые *люди*, а не какие-то, набитые трухой, неговорящие *куклы* Верховного Совета СССР в которых, конечно, «резкой прямоты» не ночевало.

Я вынужден ограничить себя в приведении примеров неверностей и неточностей в описании Солженицыным России 1914 года. Их, к сожалению, довольно много. Приведу еще только отдельные слова-советизмы, невозможные в эпопее 1914 года: «рассредоточить», «разведсводка», «перекур», «прочесывать», «посланное наверх», «передний край», «доложить наверх», «артподготовка», «выпускник», «трофейные лошади», «обсасывать победу» и т.д. Капитан Райцев-Ярцев не мог крикнуть своим суздальцам: — «Хэ-ге-й, суздальцы! Перекур десять минут!» В царской армии в этом случае подавалась иная команда: — «Оправиться, покурить!» А «перекур» (кстати сказать, очень хорошее слово) вошел в язык только в советское время («это дело перекурим как-нибудь!»). Не мог также, вернувшись в ставку Верховного, полковник Воротынцев, делая доклад обо всем виденном им на фронте,

в присутствии Верховного, великого князя Николая Николаевича и нескольких генералов, обратиться к ним: — «Господа!» Он должен был обратиться: — «Ваше Императорское Высочество, Ваши превосходительства...» (а так как большинство присутствовавших генералов были, кажется, полные генералы, то — «высокопревосходительства»). «Господа» же обращение сугубо штатское и в данном случае не только уж непочтительное, но просто *невозможное*. «Начальник дипломатической части Ставки, вот кто брал теперь слово. Начальник дипломатической части просит *господ генералов...*» Это уже просто ужасно! «Господа генералы» родились только после революции 1917 года. Тут же должно было быть просто — «присутствующих».

Также, я думаю, неверны слова адъютанта вел. кн. Николая Николаевича Дерфельдена, когда он вносит телеграмму от царя. «С высоты конногвардейского роста благоговейно приклонился, подавая: — От государя». Так сказать, обращаясь к Николаю Николаевичу мог кто-нибудь из великих князей. Но адъютант Дерфельден о телеграмме царя, которую все так ждут, должен был сказать: «От его величества». При чем не думаю, что при этих словах Дерфельдену нужно было «благоговейно приклониться». Как это? Это может-быть фрейлине было бы гоже сделать глубокий реверанс, но это же конногвардеец? Тут опять вина — в слововыдумках: вместо простого — «почтительно склонился», почему-то надо было выдуманное — «благоговейно приклонился». И получилось невпопад.

Прав Солженицын, когда сам признает, что людям его, советского, поколения о былой России писать «невподым». Это естественно: это все равно что писать о жителях и событиях на другой планете.

ИСТОРИОСОФИЯ И ПОЛИТИКА

Говоря о «мире» и «войне» в этой эпопее, я должен сказать, что на мой взгляд «мир» Солженицыну не удался, да простит мне Александр Исаевич. Да и в дальнейшем, в начале «войны» еще долгое время чувствовал я все ту же боязнь за автора: уж очень как-то всё идет композиционно неорганизованно, невероятно многословно подаются военные события.

И вдруг — да, именно — «и вдруг» — уже после половины книги, вы начинаете чувствовать, что Солженицын внезапно «набирает высоту». И книга его превращается как бы в ракету: сначала тяжело разгорался огонь взрыва, валил заволакивающий всё дым, и вдруг с земли — ввысь — поднимается уже беззвучная ракета. И помимо воли читателя, может быть даже уставшего от всех этих предварительных премудрствований, ненужных пословиц, ненужных «экранов» и «самовитых» слов, Солженицын поднимает вас и несет на подлинной творческой высоте. И вы захвачены и силой творческого вымысла и силой глубокой и часто мудрой мысли. Да, да, — и силой его языка, который на этой высоте вдруг лишается всякой надуманности, переходя в прекрасную, увлекательную, образную прозу.

Главная тема эпопеи развертывается только в «войне». И ее Солженицын подал очень талантливо, потому что он *ее знал*. Пусть он сам в этой войне не участвовал, тут ему помогли документы. А их за 50 лет в Совсоюзе издано вполне достаточно, чтоб вжившись в них, большой художник мог передать «войну» не схематично, а полнокровными многокрасочными сценами и характерами. К тому же во вторую мировую войну и сам Солженицын прошел по тем же самым «полям войны», по которым в 1914 году ходил его отец, молодой артиллерийский офицер. А люди на войне всегда те же. Да и война, в своей сущности, всегда та же.

Но прежде чем говорить о главной теме и ее вариациях в «Августе Четырнадцатого» я хочу все-таки остановиться на двух сценах «мира». Эти сцены чрезвычайно важны для понимания главной темы, они великолепно сделаны, умны, глубоки и имеют большое значение для понимания всей художественной задачи Солженицына. Среди других сцен «мира» они стоят как-бы в сторонке, особняком. Это — разговор в московской пивной Варсонофьева с Саней и Котей. И разговор в Ростове на Дону — инженера Ободовского с юными эс-эрами.

Остановимся сначала на «звездочете» Варсонофьеве. Эта сцена в московской пивной философски важна и художественно очень хороша. Но все-таки — как ровесник Сани Ложеницына и человек той же русской судьбы, как свидетель истории, — я вынужден сначала указать на ее мелкие бытовые недочеты. Именно этот район Москвы — Большую Никитскую

— я хорошо знавал в студенческие годы. Здесь в 1914-1915 годах жил в Большом Козихинском, и на Никитском бульваре, и в знаменитых Гиршах на Малой Бронной. Ежедневно шел по Большой Никитской в университет. Так что я знаю о чем говорю.

И вот студенты Саня, Котя и «звездочет» Варсонофьев, лицо неопределенной профессии, некий русский чудак, приватгелертер — входят в пивную где-то около Большой Никитской. Пусть. В те времена у студентов-москвичей в большом почете был дешевый ресторан «Бар», а для «тяжелых случаев» знаменитая Ночная Чайная «Калоша». Открыта «Калоша» была ночь напролет, водку подавали здесь в чайниках. Сидели извозчики, ломовики, студенты, разный сброд, после театра появлялись даже элегантные господа с дамами, в поисках «острых ощущений». Но Котя и Саня пошли в пивную. Солженицын пишет: «Котя толканул Саню в бок: сидел *у пива и воблы* известный университетский профессор с естественного факультета и студенты с ним. В нескольких местах — офицеры, а то — вроде адвокаты». Увы, все это действительности 1914 года соответствовать не может. Ни Новгородцева, ни Вернадского, ни Мануйлова, ни Кизеветтера, ни Лебедева, ни Любавского, ни Челпанова, ни Лопатина, никого из известных московских профессоров (преподававших в университете или непреподававших) *в пивной у пива и воблы* увидеть было нельзя. Не те были времена. Да и нечего было профессору итти с студентами *в пивную*, когда на каждом шагу были какие хочешь рестораны (и дешевые, и средние, и дорогие). В этом я уж могу уверить Александра Исаевича: не видали московские пивные у себя профессоров, да еще известных!

Дальше — хуже: «в нескольких местах — офицеры», пишет Солженицын. Эти статисты в этой сцене уже совершенно невозможны. Ведь это была еще крепкая чинопочитанием, дисциплиной, традицией, воинским уставом царская Россия *1914 года*! А в те времена не только уж пивную «с пивом и воблой», но и дешевенькие рестораны офицеры не посещали. Офицеры могли посещать только вполне хорошие рестораны, при чем войдя в ресторанный зал должны были оглянуть его и если видели старшего в чине, должны были подойти и спросить, став по-военному: — «разрешите остаться» (господин пол-

ковник, господин капитан — смотря по чину). И в ответ на «пожалуйста» офицер занимал свое место. Так что из этой пивной, как статистов, надо удалить и профессоров и офицеров (невместно было!), да и адвокатов, пожалуй. Ну, какие-нибудь очень дешевые адвокатишки, без практики, а скорей всего частные поверенные могут еще тут оставаться.

Опять же и насчет воблы. Солженицын пишет: «Котя разодрал воблу, как грудь себе». Увы, «воблу раздирали, как грудь себе» только базарные мужики, предварительно постучав ей хорошенько по оглобле для размягчения. Даже в уездных трактирах воблу подавали нарезанную ломтиками. А вот что и Котя и Саня и Варсонофьев заедают в этой сцене пиво «моченым горохом» — сие совершенно точно. Сам заедал.

И еще одно замечание к этой сцене. Варсонофьев — удался Солженицыну полностью: ни сучка, ни задоринки. Пусть от него немножко тянет дымком Достоевского, и он больше «литературен», чем человек во плоти. Но он очень хорош. Собеседники же его — Котя и Саня — прихрамывают. Ведь они студенты перешедшие на 4-й курс историко-филологического факультета, самые что ни на есть «критически мыслящие личности» того времени, знаменитые «русские мальчики», занятые и философией Гегеля, и вопросами вечности и гроба, и смыслом жизни. В те годы такой студент, конечно же, вступил бы в интереснейший спор с «звездочетом» Варсонофьевым. У Солженицына же и Котя и Саня скорее какие-то малоразвитые комсомольцы, довольно таки бессвязно мычащие и только задающие Варсонофьеву приблизительные вопросы. Поэтому сцена сия не диалогична, а монологична. Говорит только Варсонофьев. Но может быть Солженицын умышленно так построил сцену? Кстати, студенты 1914 года, третьего курса, не могли, конечно, говорить в пивной, как говорит Котя: «Селянку! Обоим! *Санюха, чисть подряд*!». Еще минута и Котя начнет «рубать», «шамать» и наестся «от пуза». Все это вульгарные советизмы.

Но как бы то ни было — сцена прекрасна, и все искупает Варсонофьев. Этот книжный червь, одинокий приватгелертер умен. И философия его далеко не банальна. Котя спрашивает его, например, о народовластии.

«— Что, ж, по вашему, народовластие не высшая форма правления?

— Не высшая, — тихо но твердо.

— А какую ж вы предложите?..

— *Предлагать*? И не посмею... Кто это смеет возомнить, что способен ПРИДУМАТЬ идеальные учреждения...

— А вообще, идеальный общественный строй — возможен? (спросил уже Саня, РГ).

Варсонофьев посмотрел на Исаакия ласково...

— Слово СТРОЙ имеет применение еще лучшее и первое — СТРОЙ ДУШИ. И для человека нет нич-чего дороже строя его души, даже благо через-будущих поколений... Мы всего-то позваны — усовершенствовать строй своей души...

— Как позваны? — перебил Котя.

— Загадка! — остановил Варсонофьев пальцем. — Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?»

Это, разумеется, так далеко от вульгарного истмата и диамата и от всякой материалистической философии. Тут мы слышим отзвуки крайнего (м. б. христианского) персонализма. И это поднимает всю философию эпопеи Солженицына на большую высоту. Это высота литературы 19 века — Достоевского, Толстого, Чехова.

«Но все-таки интересовало мальчиков:

— А общественный строй?

— Общественный?... Какой-то должен быть лучше всех худых... Но только, друзья мои, этот лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже НАУЧНОМУ, мы же все научно, составлению. Не заноситесь, что можно придумать — и по придумке самый этот любимый народ коверкать. История... не правится разумом... История — ИРРАЦИОНАЛЬНА, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань... История растет, как дерево живое. И разум для нее топор, разумом вы ее не вырастите... Или, если хотите, история — река, у нее свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивший пруд... Но реку, но струю прервать нельзя, ее только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать ее на тысячу саженей...»

Как видим, историософия Варсонофьева антиреволюционна. Здесь «звездочет» перекликается с таким же взглядом на

историю Юрия Живаго, Пастернака. И оба они перекликаются с Достоевским и Бердяевым (поры его знаменитой «Философии неравенства»). Уж не с Бердяевым ли засели в пивной Котя и Саня? Впрочем, это было бы невозможно из-за патологической брезгливости Бердяева, о чем он рассказывает в «Самопознании».

«Саня мягко положил руку на рукав Варсонофьева:

— А — где же законы струи искать?

— Загадка. Может быть они нам вовсе недоступны... Во всяком случае не на поверхности... Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека...

— А справедливость?... Разве справедливость — не достаточный принцип построения общества?

— Да!... Но опять-таки не своя, которую б мы измыслили для удобного земного рая. А та справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе. А нам ее надо *угадать*!...»

Вторая замечательная сцена из «мира» «Августа Четырнадцатого», это разговор бывшего эмигранта, бывшего анархиста, выдающегося инженера Ободовского, ушедшего от революции и увлеченного хозяйственным развитием России. Эта фигура выписана очень ярко. Такие люди действительно в России были в период ее большого хозяйственного и промышленного подъема в 1908-14 годах. К ним принадлежал, например, Леонид Красин, в прошлом большевик, а в те годы делец и инженер большого размаха, ушедший от революции. Таким же талантливейшим «Ободовским» был Николай Владиславович Вольский (Валентинов), которого я хорошо знал, с которым дружил в Париже. Бывший большевик, потом меньшевик, после революции 1905 года ушедший от сих дел, он стал тогда фактическим редактором самой распространенной ежедневной газеты, американского размаха, сытинского «Русского Слова». Н. В. часто с тоской говорил о том, что никто из русских экономистов так и не написал настоящего труда о том, как бурно промышленно и хозяйственно развивалась Россия в годы перед первой мировой войной, когда над страной уже загоралась блоковская «Америки новой звезда». «Так это и замнут, и история об этом как следует ничего и не узнает», с горечью говорил Н. В.

«Вообще — кончился штиль! Штиль в России кончился!... — с восторгом восклицал Ободовский, — ...На Россию надо, батенька, смотреть издали-издали, чуть не с Луны! И тогда вы увидите Северный Кавказ на крайнем юго-западе этого туловища. А все, что в России есть объемного, богатого, надежда всего нашего будущего — это СЕВЕРО-ВОСТОК! Не ПРОЛИВЫ в Средиземное море, это просто тупоумие, а именно северо-восток! Это — от Печоры до Камчатки, весь север Сибири. Ах, что можно с ним сделать!.. Настоящее завоевание Сибири — не ермаковское, оно еще впереди. Центр тяжести России сместится на северо-восток, это — пророчество, этого не переступить. Между прочим, к концу жизни к этому пришел и Достоевский, бросил свой Константинополь, последняя статья в «Дневнике Писателя». Да, нет не морщьтесь, у нас и выхода не будет! Вы знаете расчет Менделеева? — к середине XX-го века население России будет много больше трехсот миллионов».

В этом пафосе о месторазвитии России — о северо-востоке и Сибири — мы, конечно, слышим идеи эмигрантов-евразийцев. Вообще, в «Августе Четырнадцатого» есть много существенных мест, которые говорят, что некое проникновение в Совсоюз и зарубежно-русских идей и зарубежной литературы бесспорно. Во всей силе оно еще под спудом. Но время придет и история докажет, что зарубежная Россия прожила и проработала за рубежом не зря, а волей-неволей — для России же. И в «Августе» — то отзовется Бердяев, то евразийцы, то воспоминания протопресвитера Г. Шавельского, то труды ген. Н. Головина, то что-то близкое к писаниям Вейдле о Петербурге.

На патетику Святослава Иакинфовича Ободовского о грядущем месторазвитии России его собеседник, умница, инженер Илья Исакович Архангородский пессимистически отвечает:

«— Это в том случае, Святослав Иакинфович, если мы не возьмемся выпускать друг другу кишки!»

К несчастью России большевицкая революция взялась именно за это. За время властвования ленинцев народонаселение России не только уж не возросло, по предсказанию Менделеева, до 300 миллионов. А убавилось миллионов на 100 из-за «кровавой колошматины и человекоубоины» по горькому выражению пастернаковского Доктора Юрия Живаго.

Спор Ободовского о нужности революции с юными эсэрами, детьми Архангородского, мудро подитоживает их отец Илья Исакович:

«Разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет ее, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем больше стране за нее платить — тем ближе она к титулу ВЕЛИКОЙ... надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...»

Вот какую политическую программу для России отстаивают мудрые солженицынские инженеры. Это, конечно, очень далеко от терроризма Ленина. Когда-то Жан Жорес определял революцию, как «варварскую форму прогресса». Определение долго было банальным и считалось правильным. Сейчас оно устарело. На примере «Октября» мы увидели революцию, как «варварскую форму РЕГРЕССА», влекущую в этот РЕГРЕСС вслед за Россией — весь мир.

ГЛАВНАЯ ТЕМА И ЕЕ ВАРИАЦИИ

Но как ни важны в эпопее мысли Варсонофьева и Ободовского, — они только оттеняют главную тему. А главная тема, это — прекрасно выписанный, трагический портрет «семипудового агнца», командующего 2-й армией, генерала от кавалерии Александра Васильевича Самсонова.

Внешне, душевно, психологически этот портрет Солженицыну исключительно удался. Через эту очень русскую и как будто несложную, и в то же время трагическую фигуру Самсонова Солженицын подает тему *русской сути*, тему России как таковой, тему ее роковой гибели, которая в августе 1914 года только еще начинается. Самсонов, это — центр первого «узла». А вариации этой русской темы — полк. Воротынцев, полк. Кабанов, ген. Мартос, ген. Крымов, ген. Нечволодов, полк. Первушин, поручик Офросимов, есаул Ведерников, унтер-офицер Благодарёв, фельдфебель Чернега и множество многоговорящих острых зарисовок русских рядовых солдат. Кстати, солдаты у Солженицына — подстать Толстому и Бунину — говорят превосходнейшим, живым языком:

«— Женаты, дети есть? — (спрашивает молодой офицер фельдфебеля, РГ).

— Та зачем жениться, як сосед женат?».

Или:

«— Чего это? в плен? а мы — не изъявляем!»

Или:

«— Ничего, подходяво. За танбовского сойдешь».

Во всем этом первом «узле» русскость душ, русскость психологий — музыка книги. Солженицын — писатель почвенник. У него особый дар любви (не всякому даденый) — ко всему русскому и к России, как месторазвитию этой особой душевности. Достоевский сказал бы о даре любви до сладострастия. Литературные предки Солженицына — славянофилы во главе с Хомяковым, Достоевский, Аполлон Григорьев, Лесков. Поэтому ему и удаются изображения таких душевно очень русских людей, как Иван Денисович, Матрена, Нержин, Спиридон, ген. Самсонов и такие русские сцены, как — солдаты, еле-еле прорывающиеся из немецкого окружения и все-таки несущие на носилках своего мертвого полкового командира, которого они и отпевают в лесу. Некоторым показалась эта сцена неправдоподобной, также как и сцена неожиданной встречи во время боев, на куске «ничьей земли», полковника Воротынцева и германского генерала фон Франсуа. Конечно, подходя фактически-канцелярски, неправдоподобие этих сцен налицо. Но дело то в том, что большое искусство часто должно оперировать неправдоподобностями, поднимая их до правдоподобия. Отправил же Лев Толстой Пьера Безухова на Бородинское сражение?

Но вернемся к образу генерала Самсонова. Он особенно хорош, когда, уже чувствующий гибель своей армии и свою безвинную вину перед умирающими зря русскими солдатами, он, Самсонов, ищет какого-то искупления этой вины, в которой не виноват и бессознательно идет к смерти среди своего воинства.

«Да, это был генерал Самсонов! На крупном коне и крупный сам, как олеографический картинный богатырь, он медленно объезжал цыганоподобный табор, словно не замечая его позорного отличия от парадного строя. Никто не подавал ему «смирно», никому он не разрешал «вольно», иногда брал руку к козырьку, а то не по-военному, по-человечески, снимал фу-

ражку и прощался этим движением. Он был задумчив, рассеян, не влек при себе главной силы командира — страха».

Как тут всё хорошо, как всё метко, как верно и как ПО-РУССКИ. «Не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный» всей прелести этой, как будто, военной, а на самом деле вовсе не только военной сцены. Это сцена исконно духовно-северо-восточная.

Кое-где у Солженицына мне, как будто, почудилось знаменитое, соблазнительное суворовское: «Мы русские! Какой восторг!». Но нет, он тутже умеряет свою любовь и свою приверженность к русскому — русским же смирением, унижением паче гордости. «Россией должны непременно править дураки, Россия не может иначе», говорит Воротынцеву его друг, генштабист Свечин. И Солженицын показывает и глупость, и тупость, и растяпость, и эгоистическое наплевательство, и своекорыстие многих русских, и прочие присущие и русской душе общечеловеческие и специально русские душевные непривлекательности. Иной раз даже кажется, уж не чересчур ли сгущает он краски в описании отрицательных черт многих царских генералов? Но, думаю, нет. Его поддерживает история. Через них Солженицын верно нацеливает свое обличение виновников в общероссийской катастрофе этого «узла».

Конечно, в катастрофе России, как часто говорится, виноваты все. Эта банальность в какой-то мере правильна. Но все же в русском обществе того времени были два слоя — две «черни», которые исторически несут наибольшую ответственность за ее гибель. Одна «чернь» — верхняя, двор царя, окружение трона. Другая «чернь» — нижняя, революционное подполье, бесовщина, в развитии всех «узлов» оглавившаяся Лениным. Но в первом «узле» Солженицын только как бы пунктиром, слегка намечает тему революционного подполья, противопоставляя ему историософию Варсонофьева и мысли Ободовского. Характеристика же верхней «черни» очень хороша в устах того же Ободовского:

«...всё России нужно, везде нужно успеть... развитие производительных сил и развитие общественной самодеятельности... А они всё мертвят до чего касаются, а касаются всего. Они сами ни одного своего действия не понимают, они ВЕКА не понимают! Они ТАКУЮ страну рассматривают, как свою вотчину: захотят — помирятся, захотят — будут воевать...

и полагают, что всегда им (всё) будет с рук сходить. Да ни один же великий князь такого и слова не знает: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ! На Двор — всегда привезут, хватит!»

В истории России эта верхняя «чернь» убила Пушкина, сопротивлялась реформам Александра II-го, при Александре III поддерживала рокового Победоносцева, при Николае II оттеснила в опалу Витте, убила Столыпина и приблизила к трону Распутина. А когда, отрекшийся от трона Николай II оказался всеми покинут, кроме двух-трех лиц, он записал в дневнике: «...везде трусость и измена». Это было именно — о верхней «черни».

Эту верхнюю «чернь» Солженицын намечает в характерах близких ко двору генералов — Жилинского, Ренненкампфа, Клюева, Янушкевича, Данилова (протеже Сухомлинова) и некоторых других генералов-бонвиванов вплоть до вел. кн. Николая Николаевича, не столько верховно командующего вверенными ему войсками, сколько дипломатически лавирующего между милостью и немилостью царя. Хотя облик Николая Николаевича у Солженицына как-то двоится. Он пишет о нем и как об «умном полководце». Мы, свидетели истории, «умного полководца», по-моему, не знали.

Россию древнюю, молчащую, многотерпеливую у Солженицына олицетворяет собой Самсонов. При чем он вовсе не «действующее лицо». Никаких, собственно, действий у Самсонова нет. Да и в диалогах он не участник. Солженицын очень скуп в показе нам душевных движений генерала. И тем не менее образ Самсонова — монументален. Он подавляет в книге всё.

Несопротивляющийся придворному холодному карьеристу Жилинскому, толкающему его и его армию на поражение, чувствуя гибель и как бы примирившись с ней, Самсонов странно не обращает уже внимания ни на своих штабных ловчил генералов Постовского и Филимонова, ни на генералов, которые подвели его своими военными действиями. Он уже «не держал сердца ни против Благовещенского, ни против Артамонова за их ложь и за их отступление. Что ж гневаться на них, если и сам уже виноват довольно?... Но если оправдывать ошибки подчиненных — что тогда остается от генерала?... За всю свою военную службу не предполагал Самсонов, что может сразу сойтись тяжело, как ему сейчас... тянулась очи-

ститься душа командующего. А нужна была для того, он ясно понял: молитва... Он раскрыл нагрудный походный казачий складень белого металла и тремя створками утвердил его на столе. Тяжелыми коленями опустился на пол, не справляясь, чисто ли там. И так, грузной тяжестью на коленях, от боли в них испытывая удовлетворение, уставился в распятие и две иконки складня — Георгия Победоносца и Николая Угодника, вошел в молитву... Сперва это были две-три цельных известных молитвы «Да воскреснет Бог!», «Живый в помощи», а там дальше потекла молебная немота, что-то бессознательное, составляемое, незвучащее, изредка опертое на крепко сложенные, удержанные памятью опоры... — всепресветлое Твое лицо, о Жизнеподатель!...»

«Он стоял коленно, всей тяжестью вдавливаясь в пол, смотрел в складень вровень глаз своих, шептал, молчал, крестился — и тяжесть крестящейся руки с каждым разом становилась как будто менее, и тело не так грузно и душа не так темна: все тяжкое и темное беззвучно и невидимо отпадало от него, отделялось, возгонялось — это Бог на себя принимал от него тяготу, — Ему ведь все посильно перенять... И чин как будто отлетел от командующего, и сознание города Найденбурга, и армейского штаба в двух шагах отсюда — молящийся всплывал, чтобы прикоснуться высших сил и отдаться их воле. Ибо вся стратегия и тактика, снабжение, связь, разведка — разве не было копошенье муравьиное перед волею Божьей? И если благоволил бы Господь вмешаться в ход сраженья, как по преданьям бывало в старину не раз, то чудодейственно выигралось бы оно при всех огрехах».

Вот именно эти сцены эпопеи поднимают Солженицына до вершин русской классической литературы. Самсонов показан не по документам, как неудачливый полководец, загубленный в своем наступлении бесталанностью и ноншалантностью штаба фронта. Нет, он показан, как символ всей гибнущей зря, ни за что, России и эту свою страшную гибель принимающей, как не принял бы ее ни один европейский генерал, ни один западный народ. Эту русскость Самсонова глубоко понимает такой же до мозга костей русский Солженицын.

Страницы посвященные гибели генерала А. В. Самсонова замечательны и, по-моему, лучшие во всей книге. После молитвы Самсонов засыпает. Во сне «не виделось ничего. Но

возле уха — ясное с оттенками вещего голоса, а как дыхание:

— Ты — успишь... Ты успишь...

И повторялось. Самсонов оледел от страха; то был знающий пророческий голос, даже может быть над будущим властный, а понять его смысл не удавалось.

— Я — *успею*? — спрашивал он с надеждой.

— Нет, успишь, — отклонял непреклонный голос.

— Я — *усну*? — догадывалась лежащая душа.

— Нет, успишь! — отвечал беспощадный ангел.

Совсем непонятно. С напряжением продираясь, продираясь понять — от натуги мысли проснулся командующий.

Уже светло было в комнате, при незадернутом окне. И от света сразу прояснился смысл: *успишь* — это от Успения, это значит: умрешь... Прилил пот холодный на яву. Еще струною дозвучивал пророческий голос. А — когда у нас Успение? Голова сосредоточивалась: мы — в Пруссии, сегодня — август, сегодня пятнадцатое. И холодом, и — льдом, и мурашками: Успение — сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России — сегодня. Вот оно, вот сейчас наступает Успение. И мне сказано, что я умру. Сегодня... В страхе Самсонов поднялся...»

Хорошо у Солженицына эта могучая и безвинная Россия умирает — кончает самоубийством — этот боевой генерал, бывший наказной атаман, перед смертью цалующий шашку в золоченых ножнах, подарок царя, и медальон жены.

«Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения... Пошумливали вершины. Лес этот не был враждебен: не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе.... Привалясь к стволу, Самсонов постоял и послушал шум леса... Все легче становилось ему. Прослужил он долгую военную службу, обрекал себя опасностям и смерти, попадал под нее и готов был к ней — и никогда не знал, что так это просто, такое облегчение... Только вот почисляется грехом самоубийство... Револьвер его охотно, с тихим шорохом, перешел в боевой взвод... Снял шашку, поцеловал ее. Нащупал, поцеловал медальон жены... Отошел на несколько шагов на чистое поднебное место... Заволокло, одна единственная звездочка виднелась. Ее закрыло, опять открыло. Опустясь на колени, на теплые иглы, не зная востока — он молился на эту звездочку... Сперва готовыми молитвами.

Потом — никакими: стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом простонал вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное:

— Господи! Если можешь — прости меня и прийми меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу...»

Что ж выносит читатель из этой монументальной исторической эпопеи Солженицына? Он выносит заражение какой-то сыновней, кровной, религиозной любовью к переживающей свой апокалипсис России. Она, как перед смертью Самсонов, — «ничего не могла иначе и ничего не может...». При чем Россия Солженицына это больше чем государство, чем страна, нет, это некая русскость, разлитая в мире, в ее лучшем и духовном чувствовании.

Перевернув последнюю страницу книги, я подумал, какое было бы счастье, если б настал тот день, когда в Москве образовалось бы правительство из бывших зе-ков (политзаключенных) вроде Солженицына. Это было бы поистине лучшее правительство в мире. И тогда бы действительно могла настать новая эра — всечеловеческая, вселенская, которая по справедливости бы назвалась *русской.*

«Новый Журнал», 1971 г.

А. СОЛЖЕНИЦИН И СОЦРЕАЛИЗМ

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

1

На Западе повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» пошла по пути романа Дудинцева «Не хлебом единым», романа Пастернака «Доктор Живаго» и таких политических стихов Евгения Евтушенко, как «Наследники Сталина». Вокруг повести начался «мировой шум». Ее перепечатывают по-русски, она уже вышла на иностранных языках.* О ней много пишут и говорят. Оправдано ли все это? Я думаю, — да. Это произведение заслуживает большого внимания. И не столько с точки зрения политической, сколько в смысле литературном.

Также как стихи Евтушенко, повесть Солженицына и некоторые другие произведения советской литературы, — и внутри страны и вовне — сейчас «взяты на вооружение» хрущевской пропагандой. Внутри страны «Один день Ивана Денисовича» явно выпущен против внутренних «китайцев». Этот опасный для него клапан Хрущев открыл еще на 20-м съезде партии: запугать партию и население «призраком Сталина», призраком чисток, крови, террора времен «культа лич-

* Здесь не обошлось и без «скверного анекдота». По-французски повесть Солженицына должна выйти с предисловием Пьера Дэкса. Того самого, который в 1950 году на одном процессе в Париже — как пишет Морис Надо в «Экспресс», — выступал, утверждая, что в Советском Союзе никаких концлагерей нет, а есть трудовые колонии для уголовных, являющиеся гордостью страны социализма. По горькой иронии судьбы Александр Солженицын как раз в это время (как и миллионы других заключенных) отбывал в концлагере свой срок в восемь лет. Теперь Дэкс пишет предисловие к его повести о концлагере. Об этом бесстыдстве не стоило бы упоминать, если бы оно не было характерным для множества «прогрессивных» интеллектуалов на Западе, идущих в фарватере компартии.

ности». И (наряду со многим другим) Хрущев пугает и «Одним днем Ивана Денисовича». Вовне же эта, якобы, «разоблачительная» повесть по заданию пропаганды, вероятно, должна показать либерализм Хрущева: поддерживайте его, а то придут консерваторы-сталинцы. И западные попутчики трактуют повесть Солженицына в нужном Хрущеву направлении. При чем «установка» дана уже главным редактором «Нового Мира» А. Твардовским в его предисловии к «Одному дню Ивана Денисовича»: «эта суровая повесть — пишет Твардовский — еще один пример того, что нет таких участков (?!) или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника». Какой либерализм! Так, «Один день Ивана Денисовича» и вошел в генеральную линию пропаганды Хрущева, вместе с стихами Евтушенко о мавзолее Сталина и прочем. Все это — в плане партийных директив «на данном этапе развития», что официально и подтверждает статья В. Кожевникова в журнале «Коммунист» (№ 17). Кожевников пишет, что характерная черта советской молодой литературы, это «активное утверждение того нового, что внесли в нашу жизнь XX и XXII съезды КПСС, в том числе решительное разоблачение всех и всяческих последствий культа личности».

А «Известия» даже назвали Солженицына «подлинным помощником партии в святом и необходимом деле».

Утверждается, что эта повесть разоблачительная. Но для кого? И что она разоблачает? Для нас, людей Запада (есть и русские люди Запада) она не разоблачает решительно ничего. Правду о принудительном рабском труде и о концлагерях люди Запада знают уже несколько десятилетий. Книг, **действительно разоблачивших** эту правду, в зарубежной русской литературе много. И среди них были замечательные. Отмечу Ю. Марголина «Путешествие в страну зека». И. Солоневича «Россия в концлагере». Г. Андреева «Трудные дороги», Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки». Были и другие ценные воспоминания о советских концлагерях: Безсонова, Никонова-Смородина, Чернавиных, Бойкова, Розанова, Ширяева, Петруся. На иностранных языках — Иосифа Чапского, Герлинга, В. Петрова, Бубер-Нейман, Сурена Санияна и многие другие.* Говорила о концлагерях и нашумев-

---

* В Израиле только что вышла книга бывшего видного коммуниста Иосифа Бергера «Свет в полночь». Автор провел 20 лет в советских концлагерях. Судя по отзывам печати, эта книга — потрясающая в смысле разоблачения коммунистических зверств.

шая на весь мир книга Виктора Кравченко «Я выбрал свободу». Я не даю сейчас список концлагерной литературы. Я только хочу указать, что о массовых убийствах в концлагерях и о рабском труде давно известно на Западе и в этом смысле повесть Солженицына чрезвычайное запоздание. Правда, когда при Сталине на Западе советские концлагеря были разоблачены, Хрущев и другие утверждали, что все это «брехня буржуазной печати». Теперь, опубликованием повести Солженицына, Хрущев берет эти утверждения назад. Он соглашается с тем, что концлагеря **были.** Но ведь **они и есть!** Да еще как есть! Только еще сильнее засекречены! Где как не в концлагере в Потьме отбывает сейчас свой срок больная Ольга Ивинская? И сколько таких, как она, томятся в теперешних концлагерях? Сотни тысяч? миллион? миллионы? Хрущев об этом молчит. И западный, «прогрессивный» интеллектуал, вероятно, скажет, что вопросы об этом задавать Хрущеву бестактно.

Но если людям Запада повесть Солженицына тематически ничего нового не дает, то появление ее в Советском Союзе, это совсем другое дело. Там, конечно, она сыграет свою роль потому, что в СССР до сих пор никакой правды о концлагерях не печаталось. В предисловии к этой повести А. Твардовский правильно отмечает: «жизненный материал, положенный в основу повести, необычен в советской литературе». Да. За последние годы были кое-какие испуганные намеки и неясные бормотания на эту тему. Но сейчас есть подлинное художественное произведение — о зека, о концлагерях. Для населения СССР в этом большое значение повести Солженицына: железный занавес над концлагерями официально приподнят. И повесть будет способствовать накоплению подспудного взрывчатого вещества в душах людей. И именно поэтому пропагандистам и журналистам Твардовский сразу же дает «линию» для объяснений появления столь странного произведения. Непонятливым людям, оказывается, надо объяснить, что «горечь и боль» от этой повести, — говорит Твардовский, — «ничего общего не имеют с чувством безнадежной угнетенности». И вправду, отчего же тут угнетаться? Наоборот, повесть о массовой гибели людей, по Твардовскому, оказывается, «укрепляет чувства мужественные и высокие». Партия стало-быть, дает разрешение: угнетайтесь, граждане, но чтобы не очень.

2

Перейдем теперь к чисто литературному разбору повести. Может быть многие со мной не согласятся. Но мне кажется, что эта повесть заставляет всякого прийти к большим и неожиданным выводам. И самый неожиданный из них тот, что произведение рязанского учителя Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» как бы зачеркивает весь соцреализм, т. е. всю **советскую** литературу. Эта повесть не имеет с ней ничего общего. И в этом ее большое литературное (и не только литературное) значение. Повесть Солженицына, — как предвестник, как указание пути для русской литературы.

Когда я читал эту вещь, во мне все сильнее нарастало удивление. Да откуда же она родилась, вся эта повесть? Да что это такое за чудо? И как это могло произойти? Но это произошло — повесть передо мной, я держу в руках этот ультра-советский журнал, но читаю **ее.** Так думал я, с интересом читая повесть Солженицына. И происхождение ее для меня становилось все яснее. Это произведение появилось в свет, минуя **советскую** литературу, оно вышло прямо из дореволюционной литературы. Из — «серебряного века». И в этом ее сигнализирующее значение. Она, как «спутник» молниеносно прошла сквозь безвоздушное пространство сорока пяти лет советской литературопропаганды и своим появлением доказала, что когда русская проза станет опять искусством слова, она неминуемо начнется с момента, когда была задушена доктриной Ленина. А советская литература, отойдя в прошлое, будет только петитным комментарием для изучающих историю диктатуры.

Что же я разумею под **советской** прозой? Я разумею — «Разгромы», «Цементы», «Железные потоки», «Поднятые целины», «Леса», «Бури», «Хлеба», «Далеко от Москвы», «Секретаря обкома», «Как закалялась сталь» и как она не закалялась, вообще все тысячи романов и повестей, написанных с **учетом требований партии и правительства.** Т. е. с учетом тех заветов Ильича, которые уничтожили русскую литературу, как искусство, превратив ее в огазетченую литературопропаганду.

«Позиция нашей партиии по идейно-художественным вопросам известна. Она изложена в трудах В. И. Ленина, в программе КПСС и в выступлениях Н. С. Хрущева... Партия активно проводит ленинскую политику в искусстве...»,

так недавно заявил вдохновитель и покровитель искусств в Советском Союзе, теперешний идеолог Л. Ф. Ильичев.

Эту ленинскую политику мы знаем давно. Но мне все-таки хочется сейчас остановиться на одном трагическом эпизоде, происшедшем при самом ее зарождении. Больше полувека тому назад, в 1905 году в легальной петербургской «Новой жизни», в небольшой статейке «Партийная организация и партийная литература» Ленин так формулировал свои взгляды на литературу: — «Новые условия социал-демократической работы, создавшиеся в России после октябрьской революции, выдвинули на очередь вопрос о партийной литературе...Литература должна стать партийной. ...Социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип **партийной литературы,** развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме... Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать **частью** общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью партийной работы...»

Было ли это случайностью или у Валерия Брюсова был зорче глаз, но именно он тогда ответил Ленину в журнале «Весы». Брюсов писал: «‘Долой писателей беспартийных!’ восклицает Ленин. Следовательно беспартийность, то-есть, свобода мысли есть уже преступление. Но в нашем представлении свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего свобода исканий... Утверждаются основоположения социал-демократической доктрины, как заповеди, против которых не позволены никакие возражения... Итак, есть взгляды, высказывать которые воспрещено... Тех, кто отваживаются на это, надо «прогнать». В этом решении — фанатизм людей, не допускающих мысли, что их убеждения могут быть ложны. Отсюда один шаг до заявления халифа Омара: «книги, содержащие то же, что Коран — лишние, содержащие иное — вредные»... Многим ли отличается новый цензурный устав, вводимый социал-демократической партией, от старого царившего у нас до последних времен... Новый строй грозит писателям-радикалам гораздо больше: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин, одиночеством... Такая свобода не может удовлетворять нас... «Коран социал-демократии» столь же чужд нам, как и «коран самодержавия»...

И поскольку вы требуете ВЕРЫ в готовые формулировки, поскольку вы считаете, что истину уже нечего искать, ибо она у вас — вы враги прогресса, вы наши враги...».

Эта перекличка Ленина с Брюсовым для русской литературы была предвестником ее гибели. Неожиданно для России Ленин победил. И Брюсов, как старый больной лев под ударом хлыста укротителя поплелся в клетку партии, чтобы стать «колесиком и винтиком». Позднее из «партийности в литературе» родился соцреализм. И на протяжении сорока пяти лет, говоря о литературе, Сталин, Жданов, Поспелов, Хрущев, Ильичев повторяют все ту же затасканную, пошлую плоско-партийную мысль Ленина, по всей своей природе чуждую искусству и убивающую его, ибо (как это ни банально) искусство к политике не имеет отношения и без свободы художника не живет.

Но казалось бы Ленин, Хрущев, Ильичев победили прочно и у Валерия Брюсова сторонников в России нет. Я говорю об открытых сторонниках, ибо тайные сторонники Брюсова в России, это — все люди подлинного искусства. Но они безмолвствуют. А вот не так давно «Известия» и «Советская Россия» выступили против подпольных литературных журналов молодежи. Это уже — открытые сторонники. И один из таких журналов «Феникс» прорвался даже на Запад. Что в нем? Оказывается, что часть советской литературной молодежи говорит об искусстве именно языком Брюсова. В «Открытом письме Евгению Евтушенко» А. Каранин пишет: «Всякое служение народу — осознанная или неосознанная ложь. Этим мерилом правильности пути поэта, его идейной чистоты, выгодно пользоваться всяким проходимцам государственной власти, которая очень умело отождествляет себя с народом. Сколько талантов обмануто и погублено!.. Поэт не должен сливаться с государственной властью. Сливаясь с ней, он теряет свою индивидуальность, превращается в работника стандартного конвейера, цель которого прямая апологетика государственной власти, а следовательно и всех пороков, которые она в себе несет...»

И словно стихами раннего Валерия Брюсова Каранину вторит неизвестный молодой поэт:

Пускай нас мало! Мы ждем! Мы верим!
Пусть мы погибнем! Наш час настанет!

Приведу здесь одно воспоминание. Оно относится ко второй половине двадцатых годов. Я жил в Берлине. И встре-

тился там с приехавшей Лидией Сейфуллиной. Она тогда была в зените славы. В СССР вышло ее собрание сочинений. Читали ее нарасхват. Писали о ней много. На Западе ее переводили. Сейфуллина действительно была талантлива. И я думаю у нее были все данные стать в нормальное (нереволюционное) время интересной писательницей. Лидия Николаевна была человеком независимым, с умом острым и резким. И вот как-то мы разговорились о «путях» советской литературы. Мало зная Сейфуллину я все-же — очень мягко — хотел провести свою мысль о том, что настоящей литературы в советской литературе, в общем, очень мало. Сейфуллина слушала меня с недовольным лицом и это заставило меня в своих формулировках быть еще мягче. Но вдруг она не выдержала и раздраженно перебила: «Так что же вы думаете, что мы не понимаем, что мы только навоз для какой-то будущей литературы? — сказала она, — Что ж вы думаете, мы этого не понимаем!» — Признаюсь, я был поражен определенностью ее фразы. И я увидел, что живущая «там» Сейфуллина ощущает это гораздо острее, и, конечно, гораздо больнее, чем люди живущие вдали. И ту же мысль, выраженную гораздо легче и ироничнее я услышал позднее от приезжавшего в Берлин Юрия Тынянова.

Со времени разговора с Сейфуллиной прошел большой срок, без малого сорок лет. Но вот после последней войны на Запад пришла вторая, уже советская эмиграция, и среди нее писатели. И некоторые из них о советской литературе сказали то же, что в двадцатых годах сказала Сейфуллина. Поэт и беллетрист Глеб Глинка в «Новом Журнале» (кн. 35) в статье «На путях в небытие» писал: «Несомненно, что в советской литературе, начиная с периода создания Союза Писателей, не найдется такого художественного произведения, которое сам автор (оказавшись на свободе, например, перекочевав каким-либо чудом в Европу или Америку) не пожелал бы хотя бы частично выправить, переделать, либо переписать заново, освободив его от той лжи, которая неминуемо присуща в той или иной дозе каждой книге, в условиях сталинской диктатуры».И дальше: «с точки зрения самих авторов, в теперешней советской литературе нет ни одного полноценного произведения». А Н. И. Ульянов в «Новом Журнале» (кн. 36) в статье «После Бунина» писал: «Русская литература чувствует себя так, как вероятно будет чувствовать последний человек на земле, когда останется совершенно один перед лицом наступающих ледников». И о том же «пути в

небытие» и о тех же «наступивших ледниках» думал М. А. Алданов, когда в «Ульмской ночи» писал: «Советская литература элементарна до отвращения». Все эти мысли о советской литературе сжал в одно Евгений Замятин, сказавший: «Я боюсь, что будущее русской литературы, это ее прошлое». Именно эту правильную формулу и подтверждает повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Как литературное произведение она вся — из «прошлой русской литературы». Поэтому-то она и доказывает обреченность, так называемой литературы **советской.**

Совершенно естественно, что за многие десятилетия ленинской «партийности в литературе», то есть, нарочитого насильственного вливания в литературу некой политической «ильичевки», писатель утерял и язык, и стиль, и свой, одному ему присущий, взгляд на мир. Он пишет огазетченым языком, своих мыслей высказать не имеет права и должен подходить к миру «в общем и целом — с позиций марксизма-ленинизма».

«Наше искусство призвано вдохновлять народ на труд во имя коммунизма ...и без промаха разить врагов, коммунизма...», — вот, оказывается, в чем задача искусства по формулировке теперешнего идеолога при ЦК КПСС, Леонида Ильичева.

Как художник, советский писатель за эти десятилетия уничтожен. Вся советская литература пришла к элементарности, к однодумью, к одностилью, к одинаково ровному «пульсу покойника».

И вдруг в этом мире плоского однообразия рождается повесть Солженицына, по всей своей фактуре и по своему подходу к миру совершенно отличная от социалистического реализма. С кем же она смыкается? С дореволюционной прозой. И в ней не с Горьким, Буниным, Куприным, Андреевым, Зайцевым — что было бы все-таки вероятнее. Нет, Солженицын смыкается с писателями ремизовской школы. Я отношу к ней Пильняка, Замятина, Шишкова, Пришвина, Клычкова. Это он, забеглый канцелярист и изограф Ремизов (а по советской терминологии «мракобес», «упадочник», «декадент», «белогвардеец») отозвался в Александре Солженицыне. Оговорюсь сразу же: я не большой поклонник этой школы и музы Алексея Михайловича. Я не его читатель, он не мой писатель. В Ремизове я любил только его аскетически-страстную посвященность литературе. В мире для него кроме искусства слова ничего не было. И тут была его сила. Но чтоб ценить его, как ценили многие, — я не из их числа.

А потому мои мысли о ремизовской школе в Солженицыне лишены всякого личного пристрастия. В этой тематически страшной повести я бы больше хотел почувствовать, например, отзвуки Достоевского. Но их нет. Проза Солженицына какими-то неисповедимыми путями пришла к ремизовскому сказу. Думаю, что Ремизову было бы дорого прочесть эту превосходную русскую вещь, где бы он сразу почувствовал свои корни:

«А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы соскалила, как смеется над зеками...»

«Было время так та́к этого хлеба боялись, кусочка двухсотграмового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они располагали выгадать — нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они куски, все равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том и думай и мучайся, не подменят ли твой кусок да друг с другом спорь, иногда до драки».

«Вот этой минуты горше нет — на развод итти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь».

«В толчее такой и одну-то миску, не расплескавши, хитро пронесть, а тут — десять. И все же на освобожденный Гопчиком конец стола поставил подносик и свежих плесков на нем нет».

«Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Теплый зяблого разве когда поймет?»

Можно удвадцатерить эти примеры совершенно ремизовского общего тона, его напева, его «наклона гласных и согласных», его конструкции фразы. И всегда, конечно, без «что», «который», «как», «которые»; очень часто с «тире», для многих непривычно разрывающим фразу; и очень часто с тяжелым словесным узлом в конце фразы, которым Ремизов (как и Солженицын) любил ее завязать. Например, так: «в коечку больничную лечь бы сейчас —и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы **потяжельше».**

Словесная ткань повести Солженицына родственна ремизовской своей любовью к словам с древним корнем и к

народному произношению многих слов, как произносили их няньки, бабки, пушкинские просвирни — потяжельше, по́пустя, вдлинь, перепозднился, наоткрыте, эстолько и пр. И еще одно сходство: Ремизов шел от сказа, поэтому и любил старинное слово, но он же необычайно любил и уродливые, а иногда пронзительные новообразования, словосокращения — ревком, ревтрибунал, губчека, наркомпрос, командарм, конармия. Все это Ремизов сразу же подхватывал в свое большое литературное хозяйство, которым прекрасно распоряжался. Недаром даже свою Обезьянью Великую Вольную палату Ремизов тутже превратил в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ, а ее членов производил из кавалеров — в полпреды. Так, полпредом всея Евразии был Петр Сувчинский. В полпреды Англии и Мексики был возведен князь Дмитрий Святополк-Мирский. И я храню, подписанную собственнохвостно царем обезьяньим Асыкой, грамоту в знак возведения в кавалеры обезвелволпала I-ой степени с васильками и назначения берлинским полпредом.

В словаре Солженицына — очень выразительный сплав архаики с ультра-советской разговорной речью, смесь сказочного с советским:

«Писать теперь, что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильгасом, латышем, больше об чем говорить, чем с домашними». — Обратите внимание на это типичное для Ремизова и его школы — «больше **об чем** го́ворить».

А вся история с коврами? Эта превосходная история рассказана очень по-ремизовски. Вот она: — «Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, веселый — ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков — красиле́й набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковер на любой простыне старой, какую да-

дут, какую не жалко — а рисовать тот ковер будто бы час один, не более...

Просил он тогда жену описать — как же он будет красилём, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что́ на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трех сортов: один ковер «Тройка» — в упряжи красивой тройка везет офицера гусарского, второй ковер — «Олень», а третий — под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не пятьдесят рублей, а тысячи стоит. Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...»

Эта передача письма жены Шухова о коврах не только уж по своему сказовому напеву, по говору, но и по всей выдумке про эти фантастические ковры — «и под персидский» и «с офицером гусарским» — на любой дрянной простыне — совершенно ремизовская. Примеров такого тона, языка, напева, образов, архаичных слов, всего сказового повествования из повести Солженицына можно было бы привести великое множество. Она вся на этом стоит. Но я дам только еще один: последний.

«Оглянулся — на бригадира лицом попал, тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да образ у него широкий. Хмур стоит. Смефуечками он бригаду свою не жалует, а кормит — ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГ'а, лагерный обычай знает напрожег».

Тут и «на бригадира лицом попал», и «образ широкий», и «знает напрожег», и «смефуечки» — все это ремизовской школы и все это от ее речи.

Но писательское сродство Солженицына с школой Ремизова не может, конечно, ограничиваться только формой: языковой музыкальностью повествования. Оно, вероятно, по-настоящему органически глубоко. Солженицын — талантливый своеобычный писатель и читая его вы чувствуете насколько форма его повествования срощена со всей его писательско-человеческой сутью. Она прирождена ему, как артисту-человеку. Свою повесть — этот однодневный сказ об Иване Денисовиче — Солженицын ведет путем подробностей, сгущения их, их наростания. И рассказ не идет по большой (скажем, толстовской) магистрали, нет он идет, так сказать, по периферии. Это близко к тому, что многие называют орнамен-

тальной прозой. И этим повесть Солженицына схожа не с прозой русских классиков-реалистов, а с прозой опять-таки «серебряного века», с прозой русских символистов. Сгущением подробностей, их нанизыванием, нагнетением Солженицын достигает нужной ему большой изобразительности. У него нет, например, даже «классического» описания наружности своего героя. Неизвестно, собственно, каков же он на вид, этот Шухов, как он «выглядит». Но вместо такого описания есть подробность — Шухов почти все зубы в концлагере от цынги потерял, больше половины, он беззубый и когда говорит, пришепетывает. И вот этого Шухова по этому пришепетыванию вы видите. Солженицын не говорит нам подробно не только уж о его биографии, но и о характере Шухова. Нет. Но вот каким приемом он превосходно показывает всего Шухова. В своей концлагерной бригаде номер 104 Шухов работает, они выводят стену и в этом сгущенном описании кладки стены, вы вдруг видите весь характер этого живого русского безответного работяги Шухова. Из кладки шлакблока, из вывода стены вырастает характер человека. При чем процесс этой работы Шухова дан тоже, конечно, совсем не натуралистически, т. е. не соцреалистически, а тоже в стиле ремизовской школы: — «Шлёп раствор! Шлёп шлакблок! Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакблок. Раствор. Шлакблок». В приемах изобразительности у прозаика Солженицына нет ничего общего с огазетченым многословием (так часто и пустословием!) пресловутого соцреализма. Вот, например, как чудесно Солженицын рисует двух заключенных эстонцев: — «два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, поочереди, курили половину сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало». — Обратите внимание на этот «синий воздух». Такой живописный портрет двух эстонцев — «оба белые, оба длинные...» — уж никак не похож ни на какую живопись соцреализма, а скорее на портреты Модильяни иль Шагала.

Говоря об общем родстве прозы Солженицына с прозой ремизовской школы, хочется отметить даже такие мелочи. Например, выдумку интересно-закрученных имен и фамилий: Шкуропатенко, синеаст Цезарь, мальчик Гопчик, Волковой. Все это аксессуары опять-таки не соцреализма, а прозаиков-символистов. И еще мелочь — ударения в словах. В своей

прозе Ремизов придавал такое значение ударерьям, что бывало по несколько раз писал нам в редакцию в Нью Иорк из Парижа: чтобы, ради Бога, не забыли «проставить ударенья». И Солженицын столь же бережно относясь к музыке русского языка, постоянно проставляет ударенья: издаля́ по́пустя. Вообще бережность к языку в этой повести — удивительная. И эта любовь к **хорошему** русскому языку опять-таки совершенно отрывает повесть Солженицына от газетно-обезличенного языка соцреалистической литературопропаганды, которая часто впадает и в «советский жаргон». Видно, современный язык режет душу Александра Солженицына, если он так говорит о теперешних москвичах: — «Они, москвичи, друг друга издаля́ чуют, как собаки. И сойдясь... лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их — все ра́вно как латышей иль румын».

У всякого настоящего писателя-художника в словарном хозяйстве всегда свой любимый подбор слов, ему более близких и дорогих. У Достоевского свой. У Бунина свой. У Ремизова свой. И у Солженицына свой, очень схожий с ремизовским: изголится, спотычливо, гвоздить, быстрометчив, снарошки, каб, не знато, терпельник, ежедён, недобычник, обвыкать, перекособоченный, укрывище, дохрястывают, бедолага, мелочкий, чужевался и пр. И все это из собственного авторского словаря.

3

Казалось бы странным, что творчески чистая, искренняя повесть Солженицына, написанная без всякой «партийности в литературе», тем не менее «взята на вооружение» хрущевской пропагандой. Думаю все-таки, что при внимательном рассмотрении тут ничего особенно странного нет. В журнале «Коммунист» В. Кожевников это объясняет так: «Повесть А. Солженицына, — говорит он, — глубоко и правдиво раскрывает произвол и беззакония периода культа личности. Она выражает гуманизм нашего времени, знаменует восстановление ленинских норм жизни в нашей стране». Вот вам и хрущевская интерпретация. Точно также разъясняет суть этой повести и А. Твардовский: — «В этой повести нет нарочитого нагнетения ужасных фактов жестокости и произвола, явившихся следствием нарушения советской законности». Но го-

раздо лучше об этой повести сказал Л. Ильичев, в своем обращении к молодым писателям, художникам, композиторам, работникам кино и театра. Он сказал: — «В повести, как известно, речь идет о горьких вещах, но она написана не с упаднических позиций. Такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку и партия их поддерживает». Здесь, как вы видите, партия вовсе и **не осуждает** концлагеря, как таковые. «Так было — так будет».

И я думаю, что сейчас повесть Солженицына не только не страшна партии и правительству, напротив, до поры до времени она им даже удобна. Она искренняя, талантливая, она о страшном, все это так, но дело-то в том, что она удобна потому, что она **не о человеке.** Она не об отдельном человеке с его страданиями под тоталитарной диктатурой, как у Пастернака — Юрий Живаго, плохо поддающийся «интерпретации» КПСС. Партия может смело «взять на вооружение» повесть Солженицына именно потому, что она не о личности, а о неком «массовике». Ведь Шухов это вовсе не строптивая личность, это вовсе не потрясатель основ, вовсе не мыслящий тростник, возжелавший пуще всего по своей по глупой волюшке пожить. Нет, Шухов это другая, старая и довольно страшная русская тема: — «эти бедные селенья, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа — изнуренный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Вот она вечная горькая русская тема в ее новом «марксистском» варьянте, воплощенная в «Одном дне Ивана Денисовича». Шухов это тема отчаянного всенародного бедствия, но этот народ даже не ропщет, он ушел в себя, в такую глубь себя, так зарылся туда, что ничего и не разглядишь в нем. Как будто и есть у него какой-то Бог, какая-то своя религия, а может-быть и нет ее вовсе. Но если и есть, то эта своя религия очень темна, очень глуха и очень глубоко загнана внутрь, где она и светит убогим светильником только ему одному, самому Шухову.

«— Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а? — (говорит Шухову молодой зека, баптист Алешка).

Покосился Шухов на Алешку. Глаза как свечки две теплятся. Вздохнул.

— Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или ‘в жалобе отказать’».

(Но Алешка не сдается).

«— Вот потому, Иван Денисович, что молитесь вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим.. Молитва должна быть неотступна! А если будете веру иметь и скажете этой горе — перейди! — перейдет.

Усмехнулся Шухов и еще одну папиросу свернул.

— Брось ты, Алешка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, признаться и гор-то самих я не видел. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились — хоть одна перешла?

Тоже горюны: Богу молились, кому они мешали? Всем в круговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мера.

— А мы об этом не молились, Денисыч... Молиться надо о духовном, чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал.

— Алеша, — отвел он руку его, надымив баптисту в лицо. — Я же не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится.

Лег Шухов опять на спину, пепел за головой осторожно сбрасывает меж вагонкой и окном, так чтобы кавторанговы вещи не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алешка лопочет.

— В общем, — решил он — сколько ни молись, а сроку не скинут. Так **от звонка до звонка** и досидишь».

Вот она — философия Шухова. И когда почти-доходяга, этот человек-тень работает в своей бригаде № 104 — выводит стену — и вся бригада торопится закончить стену к обеду, Шухов даже загорается неким «пафосом работы». О, нет, это, конечно совсем не «пафос строительства коммунизма». Даже Ильичев и Кожевников этот пафос так не комментируют. Нет, Шухов загорается подъемом общей, мирской, соборной работы всем миром. Кто ж он, этот добрый, безответный, беззубый от цынги, шепелявый Шухов? Его предки давно бытуют в русской литературе — у Толстого, Некрасова, Тургенева, Григоровича, Никитина: — «рад он жить — непрочь в могилку — русский мужичек». Шухов, пожалуй, даже немного Платон Каратаев. Новый Каратаев с душой раздавленной и обезображенной революцией. О Шуховых Солженицын вскользь бросает очень характерное: — «Там, за столом, еще ложку не окунумши, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, и то новичек. А русские — и какой рукой крестить-

ся забыли». Обезображен Шухов тем, что чувства и мысли его придавлены немыслимой тяжестью тоталитарного государства. «Не считая сна лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Но это не только ведь лагерник так живет, это много и много шире. И стал Шухов подспуден, подполен. Но на Шухове и Шуховых партии и правительству сидеть очень удобно: Шухов не восстанет — где там! — он не опасен лет на сто, а кто знает, может, и на все триста? «Что Шухов ест восемь лет, девятый? — пишет Солженицын, — Ничего. А ворочает? Хо-хо!» А если еще его в концлагере подкормить, да дисциплину слегка спустить... хотя кто-знает, может быть «подкормить-то» как раз и опасней будет. Но Шухов и так, на голодное брюхо работает. Сорок пять лет тянут без подкорму, потянут и дальше, — вероятно так, думает «сын народа», первый секретарь и председатель совета министров.

«Новый Журнал», 1963 г.

КНИГИ РОМАНА ГУЛЯ

РОМАН ГУЛЬ. *Ледяной поход* (с Корниловым). Изд-во С. Ефрон. Берлин. 1921.

РОМАН ГУЛЬ. *В рассеяньи сущие.* Повесть. Изд-во Манфред. Берлин. 1923.

РОМАН ГУЛЬ. *Пол в творчестве.* (Разбор произведений А. Белого). Изд-во Манфред. 1923.

РОМАН ГУЛЬ. *Ледяной поход* (с Корниловым). Предисловие Н. Л. Мещерякова. Государственное издательство. Москва-Петроград. 1923.

РОМАН ГУЛЬ. *Жизнь на фукса.* Государственное изд-во. Москва. 1927.

РОМАН ГУЛЬ. *Белые по Черному.* Государственное изд-во. Москва. 1928.

РОМАН ГУЛЬ. *Генерал БО.* Роман в двух томах. Изд-во «Петрополис». Берлин. 1929.

РОМАН ГУЛЬ. *Генерал БО.* Роман. Второе издание в одном томе. Изд-во «Петрополис». Берлин. 1929.

ROMAN GUL. *Boris Sawinkow.* Der Roman eines Terroristen. Autorisierte Uebersetzung von F. Frisch. Paul Zsolnay Verlag. Berlin — Wien — Leipzig. 1930.

ROMAN GOUL. *Lanceurs de bombes. Azef.* Traduit par N. Guterman. Librairie Gallimard Paris. 1930.

ROMANS GULS. *Kaujas organizacijas generalis.* Romans. Ar autora atlauju tulkojis Valdis Grevins. A. Gulbia Romanu biblioteka. Riga. 1930.

ROMAN GUL. *General Bo.* Authorised Translation by L. Zarine. Edited by Stephen Graham. Ernest Benn Limt. London. 1930.

ROMAN GUL. *Provocateur.* A Historical Novel of the Russian Terror. Authorised Translation by L. Zarine. Edited with an Introduction by Stephen Graham. Harcourt, Brace and Company, New York. 1930.

ROMAN GOUL. *Los Lanzadores de bombas. Azef. Savinkov.* Traducido por Amando Lazaro y Ros. Zevs Editorial. Madrid. 1931.

R. GUL. *Sprogstancios bombos.* Romanas. Pirmoji Dalis. Verte P. Kezinaitis. Kaunas. 1932.

ROMAN GUL. *Generał BO. Powieść.* Przełożyła z rosyjskiego Halina Pilichowska. Towarzystwo Wydawnicze "Rój", Warszawa. 1933.

ROMAN GUL. *Generał BO. Powieść.* Przełożyła z rosyjskiego Halina Pilichowska. "Książka i Wiedza". Warszawa. 1958. (Переиздано без ведома и согласия автора).

РОМАН ГУЛЬ *Скиф.* (Бакунин и Николай I). Роман в двух томах. Изд-во «Петрополис». Берлин. 1931.

РОМАН ГУЛЬ. *Тухачевский, красный маршал.* Изд-во «Парабола». Берлин. 1932.

РОМАН ГУЛЬ. *Красные маршалы.* Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский. Изд-во «Парабола». Берлин. 1933.

ROMAN GOUL. *Les Grands Chefs de l'Armée Soviétique.* Traduit du russe par J. Civel. Editions Berger-Levrault. Paris. 1935.

ROMAN GUL. *Die Roten Marschälle.* Obelisk Verlag. Berlin. 1933.

ROMAN GUL. *De Röda Marskalkarna.* Söderström Co. Helsingfors. 1936.

ROMAN GUL. *Punaiset Marsalkat.* Suomentanut K. M. Wallenius. Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö. Otava. 1936.

ROMAN GUL. *Czerwoni Dowódcy.* Towarzystwo Wydawnicze "Rój". Warszawa. 1934.

ROMAN GUL. *Rudi Maršálové.* Přeložili Dr. V. Foch a Oleg Vojtišek. Zemědělské Knihkupectvi A. Neubert. V Praze. 1934.

РОМАН ГУЛЬ. *Дзержинский.* (Менжинский, Петерс, Лацис, Ягода). Изд-во «Дом Книги». Париж. 1936.

ROMAN GOUL. *Les Maîtres de la Tcheka.* Histoire de la terreur en URSS (1917-1938). Traduit du russe. Les Editions de France. Paris. 1938.

РОМАН ГУЛЬ. *Ораниенбург.* Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере. Изд-во «Дом Книги». Париж. 1937.

РОМАН ГУЛЬ. *Конь Рыжий.* Изд-во имени Чехова. Нью Иорк. 1952.

ROMAN GOUL. *El Caballo Rojo.* Traducción directa del ruso par Agustin Puig. Maestros Rusos. Editorial Planeta. Barcelona. 1961.

РОМАН ГУЛЬ. *Азеф.* Исторический роман. Третье переработанное издание. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1959.

ROMAN GOUL. *Azef.* Traduit du russe par N. Guterman. Gallimard. Paris. 1963.

ROMAN GOUL. *Azef.* Translated from the Russian by Mirra Ginsburg. Doubleday. New York. 1962.

ROMAN GOUL. *Azeff*. Translated from Russian into Japanese by Noboru Kanzaki. Kavado Shabo. Tokyo. 1960. (На японском языке в том же издательстве «Азеф» вышел двумя изданиями).

РОМАН ГУЛЬ. *Скиф в Европе*. (Бакунин и Николай I). Переработанное второе издание. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1958.

РОМАН ГУЛЬ И ВИКТОР ТРИВАС. Товарищ Иван. Пьеса в 3-х актах и 9 картинах. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1968.

ROMAN GOUL AND VICTOR TRIVAS. Comrade Ivan. A Play in 3 acts. Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. "Most". New York. 1969.

РОМАН ГУЛЬ. *Читая «Август Четырнадцатого» А. И. Солженицына*. Изд-во Раузен Паблишерс. Нью Иорк. 1971.

РОМАН ГУЛЬ. *К вопросу об «автокефалии»*. Изд. автора. Нью Иорк. 1972.

РОМАН ГУЛЬ. *Одвуконь*. Советская и эмигрантская литература. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1973.

РОМАН ГУЛЬ. *Азеф*. Исторический роман. Изд. 4-е, исправленное. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1974.

РОМАН ГУЛЬ. *Дзержинский*. Начало террора. Изд. 2-е, исправленное. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1974.

РОМАН ГУЛЬ. *Бакунин*. Историческая хроника. Изд. 3-е. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1974.

РОМАН ГУЛЬ. *Конь рыжий*. Автобиография. Изд. 2-е. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1975.

РОМАН ГУЛЬ. *Котовский*. Анархист-маршал. Изд. 2-е. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1975.

РОМАН ГУЛЬ. *Солженицын*. Статьи. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1976.

С конца 1959 года Роман Гуль — редактор «Нового Журнала». До 1976 года он выпустил 64 книги этого журнала.

В 1970 году за заслуги в области русской литературы за рубежом Роман Гуль получил от Славянского Отделения Нью Иоркского Университета звание "Writer in Residence of the Department of Slavic Languages and Literatures at New York University."



Роман Гуль, Норвич, 1975 г.